

Роберт Стивенсон

Путешествие внутрь страны



Роберт Льюис Стивенсон

Путешествие внутрь страны

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6661710

Аннотация

«Я боюсь, что, снабжая такое маленькое сочинение предисловием, грешу против закона соразмерности. Но автор не в силах воспротивиться желанию написать предисловие, которое составляет награду за его труды. Когда кладется первый камень фундамента, архитектор является с планом в руке и несколько времени красуется перед публикой. То же делает и писатель в своем предисловии: может быть, ему ровно нечего сказать читателям, но он показывается им на минуту во входной арке со шляпой в руке и с самым приветливым видом...»

Содержание

Предисловие	6
Глава I	10
Глава II	15
Глава III	21
Глава IV	28
Глава V	34
Глава VI	41
Глава VII	48
Глава VIII	54
Глава IX	61
Глава X	67
Глава XI	73
Глава XII	82
Глава XIII	90
Глава XIV	98
Глава XV	105
Глава XVI	112
Глава XVII	115
Глава XVIII	121
Глава XIX	124
Глава XX	130
Глава XXI	138
Глава XXII	146

Глава XXIII

159

Эпилог

161

Роберт Стивенсон
Путешествие
внутрь страны

*** * ***

Предисловие

Я боюсь, что, снабжая такое маленькое сочинение предисловием, грешу против закона соразмерности. Но автор не в силах воспротивиться желанию написать предисловие, которое составляет награду за его труды. Когда кладется первый камень фундамента, архитектор является с планом в руке и несколько времени красуется перед публикой. То же делает и писатель в своем предисловии: может быть, ему ровно нечего сказать читателям, но он показывается им на минуту во входной арке со шляпой в руке и с самым приветливым видом.

Автору лучше всего держаться середины; выказывать скромность и вместе с тем сознание собственного превосходства, а также делать вид, будто книга написана кем-то другим, а он вставил в нее только то, что в ней есть хорошего. К сожалению, я не обладаю такой высотой искусства. Я еще не способен скрывать горячих чувств к читателю, и если встречаю его на пороге, то приглашаю войти с сельским радушием.

По правде говоря, едва я прочел корректуру моего сочинения, меня охватили страшные опасения. Мне представилось, что я не только буду первым, кто прочитает эти страницы, но также и последним; что, быть может, я напрасно осматривал веселые селения, и ни одна душа не последует

за мной. Чем больше я думал, тем больше пугала меня эта мысль; наконец, она превратилась в панический ужас, и я взялся за предисловие, чтобы предупредить читателей.

Что скажу я в пользу моей книги? Халев и Иисус Навин принесли из Палестины значительный груз винограда; увы, моя книга не даст ничего столь питательного, да и мы живем в ту эпоху, когда люди предпочитают точное определение любому запасу плодов.

Не знаю, можно ли найти привлекательность в отрицательности? Спрашиваю это, так как, если взглянуть на мою книгу со стороны отрицательной, мне кажется, она типична. Хотя в моем сочинении заключается около ста шестидесяти страниц, в нем нет нападок на нелепость Божьего мира, нет и намека, что я мог бысоздать лучшую вселенную... Право, уж не знаю, о чем я думал! Я точно забыл, что именно составляет славу человека. Это упущение делает мое сочинение вполне ничтожным в философском смысле, но я надеюсь, что в легкомысленных кружках такая эксцентричность понравится.

Друга, сопровождавшего меня, я должен очень благодарить, и был бы рад, если бы не задолжал ему ни в каком другом отношении. В эту минуту я чувствую к нему преувеличенную нежность. Он-то, конечно, сделается моим читателем, хотя бы ради того, чтобы проследить за своими собственными скитаниями.

Вальтеру Гриндлею Симпсону, баронету.

– *Мой дорогой Сигаретка!*

Достаточно уже и того, что ты вместе со мной мок под дождем и перетаскивал свою байдарку во время наших скитаний, что ты усиленно греб, чтобы спасти брошенную «Аретузу» среди разлива Уазы, что ты доставил жалкий обломок человеческого рода в Орильи Сент-Бенуат, где мы нашли ужин, о котором так мечтали. Быть может, было более чем достаточно, как ты и сказал, что я предоставлял тебе все решительные объяснения, а сам довольствовался размышлениями. Я по совести не мог заставить тебя делить со мной несчастья другого, более публичного крушения. Но теперь, когда наше путешествие выходит в свет дешевым изданием, эта опасность минует, и я могу упомянуть твое имя.

Но я не могу замолчать, пока не выражу сожалений о судьбе наших двух кораблей. В несчастный день, сэр, задумали мы приобрести баржу, в несчастный день сказали мы о нашей грезе самым горячим мечтателям. Правда, некоторое время мир нам улыбался. Мы купили баржу и окрестили ее; в качестве «Одиннадцати тысяч кельнских дев» она несколько месяцев стояла в спокойной реке, под стенами старого города, и ею восхищались ее поклонники. Господин Матра, превосходнейший судостроитель из Море, превратил ее в центр своих забот, и ты не забыл количества сладкого шампанского, выпитого в гостинице для придания жара работникам и быстроты работе. Я не хочу долго останавливаться на финансовой стороне

вопроса. Баржа «Одиннадцать тысяч кельнских дев» сгнила в реке, на которой ею восхищались. Она не испытала силы ветра, ее не тащила терпеливая бичевая лошадь. Когда же, наконец, возмущенный кораблестроитель продал ее, с нею продали также «Аретузу» и «Сигаретку», причем было сказано, что он из кедра, когда мы на собственных плечах во время волоков убедились, что материалом для них служил крепкий английский дуб! Теперь эти исторические суда плавают под трехцветными флагами и носят новые чужеземные имена.

Глава I

Из Антверпена в Боом

Мы произвели сильное волнение в антверпенских доках. Смотритель и несколько носильщиков подняли наши байдарки и побежали с ними к спуску. Толпа детей с громкими криками следовала за ними. Послышался всплеск, «Сигаретка» опустилась на воду, слегка взволновавшуюся кругом. Через минуту за ней последовала «Аретуза». Показался пароход, шедший вниз; люди, стоявшие на его кожухе, предостерегали нас сиплыми голосами; смотритель и его носильщики кричали нам с набережной. Но через несколько мгновений байдарки были уже на середине Шельды, и все пароходчики, смотрители доков и другие прибрежные тщеславные властители остались позади нас.

Солнце светило ярко, прибой пробегал четыре мили в час, ветер дул ровно, налетали случайные шквалы. Я никогда еще не плавал на байдарке под парусами, и мой первый опыт на этой большой реке прошел не без некоторого трепета для меня. Что случится, когда ветер впервые наполнит мой маленький парус? Мне кажется, это была такая же страшная экскурсия в область неведомого, как печатание первой книги или женитьба. Мои сомнения скоро окончились, и вы не удивитесь, что через пять минут я привязал мой шкот.

Сознаюсь, это обстоятельство сильно поразило меня самого, конечно, в компании с моими другими товарищами я всегда привязывал шкот в большом парусном боте, но я никак не ожидал, что сделаю это в маленькой и хрупкой лодочке при опасных шквалах. Мой поступок показал мне, насколько мы мало ценим жизнь. Конечно, гораздо удобнее курить, привязав шкот, но до тех пор я никогда еще не противопоставлял удобство курения очевидной опасности и не избирал удобства курения. Давно известно, что, не испытав себя, мы ничего не можем о себе сказать. Но не так обыкновенна и, конечно, более утешительна мысль, что мы почти всегда оказываемся мужественнее и лучше, нежели думали о себе. Полагаю, каждый испытал это, но опасение разочарования в будущем мешает ему громко говорить о его сладком сознании. Я искренно сожалею (это избавило бы меня от многих неприятностей), что когда я был моложе, мне никто не внушил смелого взгляда на жизнь и не сказал, что издали опасности кажутся нам гораздо страшнее, чем вблизи, и что хорошие стороны человеческого духа никогда не оставляют нас в минуты нужды. К сожалению, все мы играем на сентиментальной флейте в литературе, и никто из нас не хочет забить в мужественный барабан.

На реке было очень хорошо; мы встретили несколько лодок с душистым сеном.

По берегам тянулись стены тростника и ив, коровы и старые почтенные лошади перевешивали свои кроткие головы

через ограды. Кое-где среди зелени виднелись привлекательные деревни с шумными верфями. Там и сям на поляне стояли виллы. Ветер быстро нес нас по Шельде, а потом по Рунелю. Мы шли очень хорошо, когда увидели кирпичные заводы Боома, лежавшие по правой стороне реки. Левый берег был по-прежнему зелен и дышал сельской тишиной, аллеи деревьев украшали насыпи. Кое-где к воде сбегали лесенки, они вели к паромам, на которых то сидела женщина, облокотившаяся локтями на колени, то виднелся старик с палкой в руке и с серебряными очками на носу.

Боом и его кирпичные заводы становились все безобразнее, дымились все больше и больше. Наконец, церковь с колокольней и деревянный мост через реку указали нам, что мы в центральных кварталах города.

Боом некрасив и примечателен только тем, что его жители думают, будто они могут говорить по-английски, но это не оправдывается на деле. Упомянутое обстоятельство придало нашим разговорам с горожанами Боома некоторую туманность. Что же касается гостиницы «Навигация», я считаю ее худшим зданием в городе. Она хвалится темной гостиной с прилавком для продажи напитков. Другая гостиная, еще более холодная и темная, украшена пустой птичьей клеткой. Там мы пообедали в обществе трех необщительных учеников инженерного училища и молчаливого купца. Все кушанья, как всегда в Бельгии, отличались неопределенным и неопишуемым вкусом, я никогда не мог разобрать, что я ем,

бельгийцы целый день возятся с мясом, стараясь сделать из него истинно французское кушанье или истинно германское и приготавливая нечто не похожее ни на то ни на другое.

Пустая клетка в полном порядке, но без малейшего следа прежнего пернатого обитателя напоминала кладбище. Инженеры, по-видимому, не находили, что сказать нам или купцу, они тихо разговаривали между собой или молча смотрели на нас через блестящие очки, так как хотя эти молодые люди и были красивы, но все носили очки.

В отеле служила англичанка-горничная, которая так долго прожила вне Англии, что усвоила всевозможные веселые чужестранные словечки и всевозможные удивительные чужестранные манеры, которых не стоит перечислять. Она многоречиво говорила с нами на своем жаргоне, расспрашивала нас о теперешних обычаях Англии и предупредительно поправляла, когда мы пытались отвечать ей. Однако мы имели дело с женщиной, а потому, вероятно, наши рассказы произвели больше впечатления, нежели это нам казалось. Женщины любят собирать сведения, в то же время сохраняя свое превосходство. Это отличная политика, порой прямо необходимая. Когда мужчина замечает, что женщина восхищается им, хотя бы из-за его знакомства с географией, он сейчас же злоупотребляет этим восхищением. Только путем постоянных насмешек красавицы могут удерживать нас на надлежащем месте. Мужчины, как сказала бы мисс Хоу или Харлоу, «такие похитители». Что касается меня, я всей душой

и телом стою на стороне женщин, и после счастливых супругов, по моему мнению, на свете нет ничего прекраснее мифа о божественной охотнице. Мужчине, как известно, не стоит удаляться в лес. Святой Антоний попробовал сделать это и был, по всем сведениям, далеко несчастлив. Некоторые женщины превосходят лучших гимнософистов мужчин, так как они довольствуются собой и могут находиться в холодном или жарком поясе безо всякого существа в мужском одеянии. Я совсем не аскет, однако более благодарю женщин за этот идеал, чем благодарил бы их большинство или, лучше сказать, любую из них, кроме одной, за внезапный поцелуй. Нет ничего более бодрящего, нежели взгляд на существо, которое умеет довольствоваться собой. Стройные, красивые девушки всю ночь носятся в лесу под звуки рога Дианы, мелькают между вековыми дубами, такие же спокойные как старые деревья, и при мысли о них, об этих порождениях леса и света звезд, не затронутых волнениями горячей и бурной человеческой жизни, мое сердце (хотя я и предпочитаю многие другие идеалы) сильно бьется и трепещет. Правда, они удаляются от жизни, но как грациозно! Кроме того, о чем не жалеешь, то не потеря. А разве (здесь уже проявляется мужчина) было бы приятно внушать любовь, если бы не приходилось побеждать презрения?

Глава II

На Виллебрукском канале

На следующее утро, когда мы двинулись по Виллебрукскому каналу, пошел сильный холодный дождь. Вода канала имела температуру тепловатого чая, и под холодными струями дождя ее поверхность покрылась паром. Мы отчались с таким удовольствием, и байдарки так легко и быстро продвигались вперед при каждом ударе весел, что эта неприятность не смутила нашего хорошего настроения. Когда же облако прошло, и солнце снова выглянуло, нас охватило такое веселое чувство, какого мы никогда не испытывали дома. Ветер шелестел и дрожал в сучьях деревьев, окаймлявших берега канала. Купы листьев блистали на свету. На взгляд и слух казалось, будто можно было распустить паруса, но между берегами ветер долетал к нам только слабыми и непостоянными порывами. Мы шли с перерывами и не быстро. Какой-то человек, напоминавший моряка, закричал нам с бечевой дорожки: «C'est vite, mais c'est long».

На канале было довольно большое движение. Мы то и дело встречали или догоняли длинные вереницы барок с большими зелеными рулями, высокими кормами и окошечком по обе стороны руля. Часто в одном из этих окошечков виделся букет в кружке или цветочный горшок. На палубе жен-

щины хлопотали об обеде или смотрели за толпой детей. Эти барки привязывались одна к другой канатами, их бывало по двадцати пяти или тридцати штук. Вереницу обыкновенно вел пароход странной конструкции. В нем не замечалось ни колеса, ни винта, и он приводился в движение каким-то аппаратом, непонятным для немехаников. Этот прибор вытягивал через нос парохода блестящую цепь, которая лежала вдоль дна канала, и спускал ее опять через корму, таким образом пароход продвигался вперед шаг за шагом вместе со всей вереницей нагруженных барж. Для человека, не имевшего ключа к этой загадке, было что-то торжественное и странное в ходе длинных линий барок, которые бесшумно ползли по воде без всяких признаков движения, кроме расходившейся волнуемой струи за кормой.

Из всехсозданий коммерческих предприятий баржа канала – самое восхитительное. Иногда она распускает паруса, и вы видите, как она идет над верхушками деревьев и ветряными мельницами, между зелеными хлебными полями, точно самая живописная из всех амфибий. Иногда лошадь тащит бечеву таким шагом, точно на свете и не существует торопливости, и человек, дремлющий у руля, целый день видит один и тот же шпиль колокольни на горизонте. Становится удивительно, что при таких условиях барки могут когда-нибудь достигать очереди при входе в шлюзы, и человек получает прекрасный пример того, как можно спокойно относиться к миру. Вероятно, на палубах этих судов очень много

довольных людей, потому что подобное существование – и путешествие, и жизнь дома.

Трубы дымятся, обеды готовятся, а баржа идет, и перед созерцательным взглядом зрителя медленно разворачиваются прибрежные сцены. Баржа плывет мимо больших лесов, через большие города с их общественными строениями, с их фонарями ночью. И хозяин баржи, путешествующий «у себя в постели», как бы слушает историю другого человека или перелистывает страницу иллюстрированной книги, не имеющей отношения к нему. Он может совершить дневную прогулку в чужой стороне, а к обеду вернуться к своему очагу.

Благодаря подобной жизни, человек не делает достаточно движения для здоровья, но меры для здоровья необходимы только для нездоровых людей. Лентяй, который никогда не бывает ни болен ни здоров, находит достаточно покоя на барже и умирает легче.

Я больше хотел бы быть хозяином баржи, нежели занимать положение, которое заставляло бы меня сидеть в конторе. Немногие призвания менее лишают человека свободы, давая ему хлеб насущный.

Барочник на палубе – господин своего судна: он может выйти на землю, когда ему вздумается, он никогда не бывает принужден стоять под ветром холодную ночь, делающую парус жестким, как железо, он располагает всем своим временем, насколько это ему позволяет распорядок дня, часы, назначенные для обеда или отхода ко сну. Право, трудно при-

думать, почему умирают барочники.

На полдороге между Виллебрукском и Филлефорде в прелестном месте канала, походившем на аллею, мы вышли на берег, чтобы позавтракать. На «Аретузе» было два яйца, ломоть хлеба и бутылки. На «Сигаретке» – пара яиц и кухня «Этна». Хозяин «Сигаретки» во время высадки разбил одно из яиц, но, заметив, что яйцо все же можно сварить *à l'arapier*, опустил его в «Этну», предварительно обернув листом фламандской газеты. Мы пристали во время затишья, но не пробыли на берегу и двух минут, как ветер превратился в настоящий вихрь, и дождь застучал по нашим плечам. Мы жались к «Этне». Спирт горел довольно бурно, кругом нашей кухни то и дело загоралась трава, и ее приходилось тушить.

Через самое короткое время у нас оказалось несколько обожженных пальцев! Увы, количество превосходно приготовленных кушаний не было пропорционально этим неудачам! После двукратного растапливания нашей кухни, крепкое яйцо оказалось еле подогретым, а разбитое представляло собой холодное, грязное *fricassée* из типографских чернил и осколков скорлупы. Мы попробовали спечь оставшиеся яйца, положив их в горевший спирт, и добились несколько лучших результатов. Затем мы откупорили бутылку вина и сели в канаву, покрыв колени носовыми крышками байдарок. Шел сильный дождь. Неудобство, когда оно вызвано естественными условиями, – вещь веселая, а люди, хорошо промокшие под открытым небом, охотно смеются. С этой

точки зрения, даже яйцо à la parisien послужило добавлением к веселью. Однако развлечения такого рода, хотя они и могут быть приняты весело, не должны повторяться, и с этих пор кухня «Этна», как барыня, путешествовала в ящике «Сigaretки».

Незачем и говорить, что позавтракав мы опять сели в байдарки и распустили паруса, но ветер совершенно упал. Остальную дорогу до Филлефорде мы все же не убрали парусов и, благодаря изредка налетавшим порывам ветра и веслам, передвигались от шлюза к шлюзу между двумя ровными рядами деревьев.

Мы шли среди прекрасного зеленого ландшафта, вернее, по зеленой водяной дороге между деревнями. Берега имели жилой, обработанный вид издревле заселенных местностей.

Коротко стриженные дети плевали на нас с мостов, выказывая истинно консервативные чувства. Еще консервативнее были рыбаки. Не спуская глаз со своих поплавков, они не удостоивали нас ни одним взглядом. Они стояли на сваях, быках и на откосах, всей душой предавались рыбной ловле, казались равнодушными, как неодушевленные предметы, и шевелились не больше фигур на старинных голландских картинках. Листья шелестели, вода трепетала, а они продолжали стоять так же неподвижно, как церкви, установленные законом. Если бы вы трепанировали любой из их кротких черепов, вы нашли бы под его покровами только свернутую лису. Я не люблю нарядных молодых людей в гуттаперчевых

чулках, которые борются с горными потоками, забрасывая удочки для лососей, но я горячо люблю людей, которые каждый день бесплодно прилагают все свое искусство к тому, чтобы поймать хоть что-нибудь в тихой и уже лишенной рыбы воде.

На последнем шлюзе за Филлефорде мы встретили сторожиху, говорившую довольно понятным французским языком, она нам сказала, что до Брюсселя остается еще около двух миль. Тут же пошел дождь. Он падал вертикальными струями, под которыми вода канала всплескивалась кристальными фонтанчиками. В окрестности нельзя было переночевать. Нам осталось только сложить паруса и усердно работать веслами под дождем.

Прекрасные помещицы дома с часами и закрытыми ставнями, чудные старые деревья, стоявшие группами и аллеями, темнели среди дождя и сумрака и придавали великолепный вид берегам канала. Помнится, на какой-то гравюре я уже видел такой же красивый безлюдный пейзаж с проносящейся над ним бурей.

Глава III

Клуб «Royal Sport Nautique»

Дождь прекратился подле Лекена, но солнце уже зашло. Было холодно, и на нас обоих не осталось ни одной сухой нитки. Теперь, когда мы были уже в конце зеленой дороги и подошли к Брюсселю, перед нами выросло серьезное препятствие. Все берега были сплошь заняты судами, ожидавшими очереди войти в шлюзы. Нигде не виднелось ни порядочной пристани, ни одного сарая или хлева, в котором мы могли бы оставить на ночь наши байдарки. Наконец, мы вскарабкались на берег и вошли в маленькую кофейню, в которой сидело несколько оборванцев, пивших вместе с хозяином. Хозяин обошелся с нами довольно-таки нелюбезно, он не мог указать нам ни одного постоянного двора, ни одного трактира и, видя, что мы не намереваемся пить, не стал скрывать своего нетерпеливого желания отделаться от нас поскорее. Один из оборванцев выручил нас. Где-то тут на углу бассейна был спуск, а рядом с ним еще что-то, он неясно определил это «что-то», но воображение слушателей построило на его словах надежду.

Действительно, мы нашли сход, а вверху двух милых юношей в гребных костюмах. Аретуза обратился к ним за сведениями. Один из молодых людей сказал, что поместить на-

ши байдарки нетрудно, другой же, вынув изо рта папироску, спросил, не построены ли они фирмой «Сирль и Сын»? Название фирмы заменило предствалевне. Из домика с надписью: «Royal Sport Nautique» вышло еще с полдюжины молодых людей, все они тоже вступили в разговор с нами. Молодые люди были вежливы, разговорчивы и полны энтузиазма. Их речи уснащались английскими гребными выражениями, именами английских судостроителей и названиями английских гребных и парусных клубов. К моему стыду, меня никогда не принимали так горячо на родной земле. Мы были английские спортсмены, и бельгийские спортсмены бросились к нам в объятия. Право, не знаю, встретили ли так сердечно английские протестанты французских гугенотов, когда те переправились через пролив. Впрочем, может ли какая-нибудь религия связать людей так тесно, как увлечение одним и тем же спортом?

Наши байдарки были отнесены в лодочный сарай, слуги клуба вымыли их, паруса вывесили сушиться, все приняло красивый, опрятный вид, как на картинке. В то же время наши обретенные братья провели нас в дом. Многие из них уверяли, что мы поистине близки им. Их умывальная комната была предоставлена в наше распоряжение. Один подавал нам мыло, другой губку, третий и четвертый помогали распаковывать наши дорожные резиновые мешки. В то же время нас осыпали различными расспросами, раздавались уверения в уважении и симпатии. Право, до тех пор я не знал,

что значит слава!

– Да, да, «Royal Sport Nautique» самый старый клуб в Бельгии.

– Нас двести человек.

«Мы», «нас» – извлечение из многих речей, впечатление, оставшееся в моем уме после многих бесед. Чем-то молодым, привлекательным и патриотическим кажется мне это «мы».

– Мы взяли призы на всех гонках, за исключением тех случаев, когда нас побивал «Французский».

– Вам следует велеть просушить все ваши вещи.

– О, *entre frères!* В каждом клубе Англии мы встретили бы такой же прием. (Сердечно надеюсь, что они не ошибались).

– *En Angleterre vous employez des sliding-slats, n'est pas?*¹.

– Днем все мы занимаемся коммерческими делами по вечеру, *vous voyez, nous sommes sérieux.*

В этом была истина. Днем все они занимались легкомысленным корыстным, делом бельгийской торговли, вечером же у них находилось несколько часов для серьезных вопросов. Может быть, я неправильно смотрю на мудрость, но замечание молодого спортсмена кажется мне очень глубокомысленным. Люди, имеющие отношение к литературе и философии, всю жизнь стараются низвергать обветшалые понятия и фальшивые знамена! В силу своей профессии они, путем упорного мышления, в поте лица силятся вернуть се-

¹ Не правда ли, вы употребляете в Англии подвижные банкетки.

бе прежние свежие взгляды и положить границу между тем, что в действительности нравится им, и тем, что они поневоле научились терпеть. Спортсмены же клуба «Royal Nautique» хранили в сердцах понятие об этом. Они ясно сознавали, что привлекает и что отталкивает их, что для них интересней и что скучно, хотя старые завистливые люди и считают их взгляд иллюзиями. Тяжелая, как кошмар, иллюзия зрелых лет, медвежье объятие обычая, постепенно вытесняющее жизненность из души человека, еще не наступили для этих счастливых молодых бельгийцев. Они еще верили, что выгоды коммерческих занятий ничтожны в сравнении с их непосредственной упорной страстью к гребному и парусному спорту. Если вы знаете, что вам нравится, а не просто отвечаете «аминь» на то, что свет предлагает вам, – вы сохранили живую душу. Человек же, сохранивший свежесть сердца, может быть великодушен и честен более, чем в коммерческом смысле этого слова, он может, по своему личному выбору, любить своих друзей в силу симпатии, а не дружить с ними, только считая их как бы принадлежностью своего положения. Словом, он имеет возможность следовать своим инстинктам и оставаться в той форме, которую Бог создал для него. Он ни за что не сделается бессознательным рычагом социальной машины, основанной на непонятных для него принципах и служащей для целей не привлекательных по его мнению.

Ну кто осмелится сказать мне, что конторские занятия ин-

тереснее забав среди лодок? Если же кто-либо и скажет мне это, я отвечу ему, что он никогда не видал лодки или конторы. И, без сомнения, блуждание в лодке гораздо здоровее для человека, нежели конторские занятия. В сущности, удовольствие должно было бы составлять самую важную задачу жизни. В виде противовеса этому мнению можно выставить только желание наживы.

Лишь лживое лицемерие стало бы изображать банкира и купца людьми, бескорыстно работающими для человечества и особенно полезными, когда они погружаются в свои предприятия. Человек выше дела. Когда мой спортсмен клуба «Royal Nautique» настолько отойдет от дней юности, полной надежд, что потеряет способности увлекаться чем бы то ни было, кроме счетной книги, вряд ли он будет таким милым малым, вряд ли он так любезно примет двух промокших англичан.

Когда мы переоделись и выпили по стакану эля за процветание клуба, один из его членов проводил нас в гостиницу. Он не захотел пообедать с нами, но не отказался выпить стакан вина. Энтузиазм – вещь утомительная. Битых три часа этот прекрасный молодой человек сидел с нами и распространялся о лодках и гонках. Перед уходом он велел принести нам свечи для спален.

Мы пытались иногда переменить предмет разговора, но отвлечение действовало только на одну минуту. Член клуба неуверенно отвечал на вопрос, потом его снова увлекала, как волна прилива, прежняя тема. Я говорю, что он возвращал-

ся к своей теме, но мне кажется, что не он управлял ею, а она подчиняла его себе. Аретуза, считающий всякие гонки измышлением дьявола, находился в самом жалком положении. Ради чести Англии он не решался признаться в своем невежестве и говорил об английских клубах и английских гребцах, в первый раз слыша о них. Он несколько раз чуть было не попался, особенно когда дело зашло о подвижных сидениях «Сигаретки». В те времена, когда кровь кипела в нем, он участвовал в гребных гонках, но теперь давно отказался от заблуждений безумной молодости. Теперь ему было еще хуже, так как спортсмен-бельгиец предложил ему завтра взять одно из восьми весел в их восьмивесельной гичке, чтобы сравнить английскую манеру грести с бельгийской. Я видел, что, когда спортсмен заговорил об этом, пот выступил на теле моего друга. Другое предложение произвело на нас обоих такое же действие. Оказалось, что европейским чемпионом гребли на байдарках (как и многими другими чемпионами) был один из членов клуба «Royal Nautique». Если бы мы только подождали до воскресенья, этот адский гребец снизошел бы до того, что согласился бы проводить нас до следующей нашей остановки. Но ни я, ни мой друг не имели нисколько желания состязаться в солнечных гонках с Аполлоном.

Когда молодой человек ушел, мы велели потушить свечи в спальне и заказали себе грог. Над нашими головами прокатились громадные волны. Члены клуба «Royal Nautique» бы-

ли поразительно симпатичны, но они показались нам слишком юными и преданными своему гребному спорту. Мы заметили, что мы стары и циничны, мы любили покой и приятное блуждание мысли с предмета на другой, вместе с тем нам не хотелось опозорить родную страну, сделав неправильный удар веслом или жалко следуя за кормой байдарки европейского чемпиона. Словом, мы решили обратиться в бегство. Казалось, мы действовали неблагодарным образом, но мы постарались излить все наши чувства в оставленной нами записке. И действительно, раздумывать было некогда, нам казалось, что мы уже чувствуем горячее дыхание чемпиона, догонявшего нас.

Глава IV

Мобеж

Частью боясь наших милых друзей – членов клуба «Royal Nautique», частью зная, что между Брюсселем и Шарлеруа не меньше пятидесяти пяти шлюзов, мы решили переехать через границу в поезде, так как переправились бы через все эти шлюзы не скорее, нежели идя до Шарлеруа пешком с байдарками на плечах. Воображаю, как поразили бы мы в последнем случаеприбрежные деревни и как хохотали бы встречные ребяташки.

Переезд через границу, даже в поезде, для Аретузы дело трудное, он, Бог весть почему, подозрительная личность для официальных глаз. Где бы он ни путешествовал, кругом него собираются чиновники. Подписываются важные акты, чужестранные поверенные по делам, посланники и консулы рассеяны повсюду от Китая до Перу, и союзный флаг развевается под всеми небесами вселенной. Благодаря таким охранителям, священники, школьные учительницы, господа в серых твидовых костюмах, целые толпы английских туристов с Мюрреем в руках наполняют вагоны железных дорог континента, в одна только тонкая фигура Аретузы запутывается в сетях, тогда как остальные крупные рыбы весело продолжают свой путь. Если он путешествует без паспорта, его броса-

ют (выражаюсь не фигурально) в шумную тюрьму; если его бумаги в порядке, правда, ему предоставляется свобода, но его предварительно оскорбляют недоверием. Он природный британец, однако ему еще никогда не удавалось убедить в своей национальности хотя бы одного чиновника. Он льстит себе мыслью, что он честен, однако его очень редко принимают за кого-нибудь получше шпиона. Нет ни одного нелепого и неблагоприятного средства к жизни, которое не приписывалось бы ему недоверчивыми чиновниками или народом.

Я не могу понять причину этого. Я, как все другие, бывал в церкви и сидел за столом хороших людей, но на мне не осталось отпечатка от этого. Я кажусь всем официальным очкам таким же чуждым, как дикий индеец. Им представляется, что я мог приехать из любой части земного шара, кроме той, из которой я действительно явился. Мои предки напрасно трудились, и славная конституция не в силах охранять меня во время моих скитаний по чужим землям. Поверьте, великая вещь – воплощать собой хороший нормальный тип того народа, к которому вы принадлежите.

По дороге в Мобеж ни у кого не спросили бумаг, кроме меня, и хотя я отчаянно цеплялся за мои права, но мне пришлось выбирать между унижением и высадкой из поезда. Мне было неприятно уступить, но я желал быть в Мобеже.

Мобеж – укрепленный город с очень хорошей гостиницей «Большой олень». Казалось, город был главным образом населен солдатами и купцами, по крайней мере, мы видели

только эти два рода людей да слуг гостиницы. Мы остались некоторое время в Мобеже, так как байдарки не спешили за нами, и, наконец, они безнадежно застряли на таможне, нам даже пришлось вернуться и освободить их. Делать и смотреть в городе было нечего. Нас хорошо кормили, это было важно, но других удовольствий не было.

Сигаретку чуть не арестовали, обвинив его в желании начертить укрепления, хотя он был безнадежно неспособен исполнить эту задачу. Кроме того, как я предполагаю, каждая воинственная нация уже имеет планы всех крепостей других стран, и подобные предосторожности похожи на старательное запираение дверей хлева, когда стадо уже ушло. Я думаю, что это делается с целью поддерживать в народе хорошее настроение. Очень хорошо убедить людей в том, что они хранят тайну. Это заставляет их придавать себе большее значение. Даже франкмасоны, о которых говорилось до пресыщения, сохраняют известного рода гордость, и каждый бакалейщик-масон, каким бы честным, безвредными пустоголовым он ни сознавал себя, возвращается домой после одного из их сборищ, чувствуя себя человеком очень значительным.

Удивительно, как двое людей (если их двое) могут хорошо жить в том городе, где у них нет знакомых. Мне кажется, созерцание жизни, в которой человек не принимает участия, парализует его личные желания. Он довольствуется ролью зрителя. Булочник стоит на пороге лавки; полковник, украшенный тремя медалями, идет вечером в кафе; войска бара-

банят и трубят и, как храбрые львы, взбираются на укрепления. Не хватит слов, чтобы описать, как спокойно смотрит на все это чуждый человек.

Там, где вы пустили некоторые корни, вы волей-неволей выходите из равнодушия. Вы участвуете в жизни, ваши друзья бьются в армии. Но в чужом городе, недостаточно маленьком, чтобы слишком скоро ознакомиться с ним, но и не настолько большим, чтобы он привлекал много путешественников, вы стоите так далеко от всех волнений, что положительно не видите, что могли бы подойти ближе к жизни; вы так мало испытываете участия к людям, что забываете, что вы человек. Может быть, очень скоро вы перестали бы и быть человеком. Гимнософисты идут в лес, там их окружает природа, полная поэзии, они на каждом шагу встречают романы. Было бы целесообразнее, если бы они селились в скучных провинциальных городах, где видели бы достаточно образчиков человечества, чтобы это отнимало у них желание видеть большее количество людей, да кроме того, смотрели бы лишь на внешнюю сторону жизни. Внешность существования так же мертва для нас, как пустые формальности, и говорит нашему зрению и слуху мертвым языком, и не имеет большего значения, нежели брань или приветствие. Мы так привыкли видеть, как в воскресные дни в церковь идут супружеские пары, что совершенно забываем, что они изображают, и романистам приходится оправдывать незаконную любовь, когда они желают показать нам, как хорошо, если

мужчина и женщина живут друг для друга.

Однако в Мобеже нашелся человек, показавший мне не одну свою оболочку. Я говорю о кучере омнибуса гостиницы, это был человек с искрой чего-то человеческого в душе. Он слышал о нашем маленьком путешествии и пришел выразить мне свое завистливое сочувствие. Как ему хочется отправиться путешествовать, сказал он мне. Как ему хочется посмотреть свет раньше, чем он уйдет в могилу...

– Я еду на станцию, – сказал он. – Прекрасно, потом я еду обратно. И так каждый день целую неделю. Боже мой, неужели это жизнь?

Я не мог сказать, что нахожу это жизнью для него. Кучер просил меня сообщить, где я побывал и куда надеялся отправиться. Слушая меня, бедный малый вздохнул. Разве он не мог бы сделаться храбрым африканским путешественником, или отправиться в Индию за Дреком? Но теперь неблагоприятное время для людей с бродячими наклонностями. Тот, кто может прочнее усидеть на трехногом стуле, получает богатство и славу.

Не знаю, ездит ли до сих пор мой друг с омнибусом «Большого оленя»? Вряд ли; когда мы были в Мобеже, он, казалось, собирался возмутиться, и, быть может, наше появление дало ему последний хороший толчок. Ведь для него в тысячу раз лучше сделаться бродягой, чинить горшки и сковородки, сидя у дороги, спать под деревьями и каждый день видеть восход и закат на новом горизонте, нежели ездить с омнибу-

сом. Мне кажется, будто я слышу, как вы говорите, что положение кучера омнибуса гостиницы – почтенное. Прекрасно. Но разве имеют право люди, не дорожащие подобным почетом, отнимать у других доступ к нему? Предположим, мне не нравится какое-нибудь кушанье, а вы говорите, что все остальные, сидящие за столом, очень любят его. Что я должен сделать? Полагаю, не доедать этого кушанья до конца. Почтенное положение вещь хорошая, но она не может пересиливать всех остальных соображений! Я не говорю, что это дело вкуса, отнюдь нет, я только хочу заметить, что если положение не нравится человеку, кажется ему ненужным, стеснительным и бесполезным, то будь оно так же почтенно, как церковь Англии, чем скорее он покинет его, тем для него лучше.

Глава V

По Самбре, обращенной в канал, – в Карт

В три часа пополудни все служащие в «Олене» проводили нас до воды. Кучер омнибуса смотрел на нас широко раскрытыми дикими глазами. Бедная птица в клетке! Разве я сам не помню время, когда я ходил на станцию и смотрел, как один поезд за другим уносил свободных людей в темноту ночи, когда я читал на расписаниях названия отдаленных мест, чувствуя невыразимое желание уехать?

Не успели мы миновать укрепления, как начался дождь. Дул противный ветер, налетавший яростными порывами, вид окрестностей не был милосерднее неба. Мы плыли по местности совершенно обнаженной, скудно поросшей кустарниками и украшенной только многочисленными фабричными трубами. Мы вышли на унавоженный луг, между подстриженными деревьями, и хотели, воспользовавшись минутами светлой погоды, выкурить по трубке. Ветер дул так сильно, что нам оставалось только курить. Кроме нескольких грязных фабрик ничто не привлекало нашего внимания. Невдалеке от нас стояла группа детей под предводительством высокой девочки, они все время смотрели на двух незнакомцев и, право, не знаю, что думали о нас.

В Омоне мы встретили шлюзы, почти непроходимые, место для высадки было очень круто и высоко, спуск же находился на порядочно далеком расстоянии. С дюжину суровых рабочих протянули нам руки и помогли вытащить байдарки. Они отказались от всякого вознаграждения и, что еще лучше, отказались без всякой обиды.

– Таков у нас обычай, – сказали они.

Это очень приличная манера. В Шотландии, где вам также помогают без платы, простолюдины отказываются от ваших денег с таким видом, точно вы хотели подкупить избирателей. Когда люди решаются поступать благородно, им следует считать, что чувство собственного достоинства присуще и всем остальным. Но в наших милейших саксонских странах, где мы трудимся семь десятков лет подряд и большей частью среди грязи, где ветер свистит в наших ушах от рождения до могилы, все хорошее и дурное, что мы делаем, мы делаем заносчиво, почти обидным образом, даже милостыню мы превращаем в акт войны против существующего зла.

После Омона вышло солнце и ветер спал. На веслах мы прошли за стальные заводы и очутились в очень красивой местности. Река вилась между низкими холмами так, что солнце то светило за нашими спинами, то стояло у нас над самыми головами, и вся река превращалась в пелену нестерпимого света. По обе стороны тянулись луга и фруктовые сады, воду окаймляла осока и водяные цветы. Тянулись очень высокие плетня, привязанные к стволам ряда вязов; поля,

часто очень небольшие, казались серией клумб. Дали не было видно. Порой вершина холма, поросшая деревьями, выглядывала из-за ближайшей ограды, открывая кусок неба. На небе не стояло ни облачка. После дождя атмосфера дышала очаровательной чистотой. Река между шлюзами казалась блестящим зеркалом. Удары весел заставляли колебаться цветы, росшие у берегов.

По лугам бродил белый и черный скот с фантастической окраской. Один бык с белой головой на совершенно черном теле подошел напиться воды и стоял, насторожив уши, точно какой-то важный пастор в комедии. Через минуту я услышал громкий всплеск воды и, обернувшись, увидел, что мой пастор плыл к берегу; земля обвалилась под его ногами.

Кроме скота, из живых существ мы видели немного птиц и много рыбаков. Рыбаки сидели на окраинах лугов, некоторые из них держали по одной удочке, у других было чуть не по десяти. Казалось, они оцепенели от наслаждения, а когда мы заставляли их перекинуться с нами несколькими словами о погоде, их голоса звучали издали спокойно и как бы мечтательно. Странная вещь: рыбаки разноречиво говорили о том, для какой рыбы забрасывали они свои удочки, но каждый из них считал, что в реке богатая добыча. В тех случаях, когда оказывалось, что не было и двух человек, поймавших двух рыб одной и той же породы, мы невольно начинали думать, что ни один из них не выудил ровно ничего. Впрочем, я надеюсь, что в этот прелестный день они были, на-

конец, вознаграждены, и что в каждой лоханке отправилась домой обильная серебристая добыча для ухи. Многие из моих друзей будут стыдить меня за это, но я предпочитаю всякого человека, будь он только рыбаком, прелестнейшей паре жабер во всех водах, созданных Богом. Я не нападаю на рыб, пока мне не подадут их под соусом, но рыбак очень важная принадлежность речного пейзажа, а потому заслуживает внимания путешественника, странствующего в байдарке. Рыбак всегда скажет вам, где вы, если вы вежливо обратитесь к нему; кроме того, его спокойная фигура еще подчеркивает уединение и тишину и говорит о блестящих жителях спящих под лодкой.

Самбра так вьется между холмами, что мы подошли к шлюзам Карта только в половине седьмого. На бечевой тропинке стояло несколько детей; Сигаретка начал болтать с ними, так как они побежали за нами. Напрасно предупреждал я его, напрасно говорил я ему по-английски, что мальчишки самые опасные создания на свете, что раз завяжешь с ними отношения, то кончишь под градом камней. Что касается меня, я на все обращение ко мне только кротко улыбался и покачивал головой с видом человека, плохо знающего французский язык. Еще дома у меня было такое столкновение с мальчишками, что я охотнее встретился бы со стаей диких зверей, чем с толпой здоровых мальчуганов.

Но я оказался несправедлив к мирным юным прибрежным жителям. Когда Сигаретка отправился на разведку, я

вышел на берег покурить и присмотреть за байдарками и в ту же минуту сделался центром любезного внимания. В это время к детям подошла молодая женщина с миленьким мальчиком, лишившимся одной руки. Это сделало меня смелее. Когда я сказал слова два по-французски, одна маленькая девочка качнула головкой и заметила с очень важным комическим видом:

– А вы видите, теперь он довольно хорошо понимает, он только притворялся.

И маленькая группа рассмеялась очень добродушно.

Услышав, что мы приехали из Англии, дети были поражены, а маленькая девочка сообщила, что Англия остров, очень далеко отсюда, *bien loin d'ici*.

– Да, можно сказать, что это далеко, – заметил однорукий мальчик.

Никогда еще в жизни я не испытывал такой тоски по родине, как в эту минуту; дети превращали в бесконечность пространство, которое отделяло меня от места моего рождения.

Ребятишки любовались нашими байдарками, и я подметил в них одну черту деликатности, о которой стоит упомянуть. Последние сотни ярдов дети оглушали нас просьбами покатасть их, то же громко кричали они нам на следующее утро, когда мы двинулись в путь, но пока наши лодки стояли пустые, никто из них и не подумал надоедать нам. Это была деликатность. А может быть страх очутиться в такой

нежной лодочке? Я ненавижу цинизм более, нежели дьявола (хотя, быть может, это одно и то же), между тем, он прекрасное тоническое средство; он холодный ушат и простыня для чувства и положительно необходим, когда человек страдает чрезмерной чувствительностью.

Осмотрев байдарки, дети обратились к моему костюму. Они не могли налюбоваться моим красным поясом, мой нож вселил в них страх.

– Вот как они делаются в Англии, – сказал однорукий мальчик (я рад, что он не знал, какие плохие ножи делаются теперь в Англии). – Их покупают люди, которые уходят в море, – прибавил он, – чтобы защищаться против большой рыбы.

Я чувствовал, что с каждым словом делался все более и более романтическим существом в глазах детей, и, мне кажется, не ошибался. Даже моя трубка из обыкновенной французской глины превратилась для них в редкость, как вещь, привезенная издалека. Если мое оперение само по себе было недостаточно красиво, оно все же было заморским. Одно обстоятельство поразило их так, что они потеряли всякое чувство вежливости, а именно грязный вид моих холщовых туфель. Мне кажется, дети поняли, что грязь, во всяком случае, была продуктом их родной страны. Маленькая девочка (душа всей компании) презрительно скинула свои маленькие сабо, и я хотел бы, чтобы вы видели, как весело, как грациозно сделала она это!

Молочный кувшин молодой женщины, большая амфора из ковanej меди, стоял невдалеке. Я обрадовался возможности отвлечь внимание публики от себя и ответить похвалами на все те комплименты, которыми меня осыпали. Я стал искренно восхищаться формой и цветом кувшина, говоря, что он красив как золотой. Никто не удивился. Очевидно, вся округа славилась подобными вещами. Дети много говорили о дороговизне амфор; которые иногда продавались по тридцати франков за штуку; ребятишки рассказали мне, как их возят на ослах, вешая по обе стороны седла, причем они составляют сами по себе украшение. Мои новые друзья рассказали мне также, что подобные кувшины можно найти во всей округе и что на более крупных фермах их бывает очень много и очень большой величины.

Глава VI

Пон на Самбре. Мы торговцы-разносчики

Сигаретка вернулся с хорошими вестями. Мы могли пойти в Пон, до которой было не больше десяти минут ходьбы. Мы втащили лодки в амбар и спросили, не проводит ли нас кто-нибудь из детей до Пона. Кружок мгновенно расширился, и все наши обещания награды были встречены полным, вселяющим отчаяние молчанием. Очевидно, дети считали нас двумя страшными Синими Бородами. Они могли говорить с нами в общественных местах и не боялись, пока превосходили нас численностью; другое дело было идти с легендарными страшными и странными людьми, которые, точно упав с облаков, спустились в их деревню в этот спокойный день; они дрожали при мысли очутиться наедине с далекими странниками в поясах и с ножами. Хозяин амбара пришел нам на помощь; он велел одному маленькому мальчику проводить нас, пригрозив ему, что прибьет его за послушание. Не будь этого благодетеля, нам, вероятно, пришлось бы отыскивать дорогу самим. Как бы то ни было, мальчик больше побоялся хозяина амбара, нежели иностранцев; может быть, он уже по опыту знал, каково иметь дело с ним? Но мне кажется, что сердечко мальчишки сильно билось. Он бе-

жал на порядочном расстоянии впереди нас, все оглядывался и посматривал на нас широко раскрытыми глазами. Вероятно, дети иного мира так же провожали Юпитера или кого-либо из его олимпийских товарищей, когда те спускались на землю искать приключений.

Грязная дорога увела нас от местечка Карт с его церковью и задорной ветряной мельницей. С полей шли крестьяне. Бодрая маленькая старушка обогнала нас. Она сидела на осле по-мужски между двумя блестящими молочными кувшинами и то и дело подгоняла ослика, слегка ударяя каблуками по его бокам; она бросала шутливые замечания насчет прохожих, но никто из усталых встречных не отвечал ей. Вскоре наш проводник свернул с дороги на тропинку. Солнце село; запад, бывший перед нами, казался гладким озером ровного золота. Тропинка некоторое время бежала по открытому месту, а затем вошла под свод, походивший на бесконечно продолженную беседку. По обе стороны были тенистые фруктовые сады, домики стояли под листьями, и их дым поднимался в тихом воздухе. Там и здесь в просветах проглядывало большое, холодное лицо западного неба.

Я никогда не видал Сигаретку в таком идиллическом настроении духа. Он положительно впадал в лирический тон, расхваливая сельские картины. Сам я восхищался немногим менее его. Мягкий вечерний воздух, светотени и тишина создавали какое-то гармоническое добавление к нашей прогулке. Мы решили на будущее время избегать городов и все-

гда ночевать в деревнях.

Наконец тропинка прошла между двумя домами и вывела нас на широкую, грязную, большую дорогу, окаймленную по обеим сторонам, насколько мог видеть глаз, необозримой, большой деревней. Дома стояли несколько поодаль от шоссе, оставляя широкие полосы земли по обе стороны улицы; на этих краях дороги были сложены поленницы дров, телеги, тачки, кучи щебня, и росла мелкая, еле видная трава. Слева стояла тонкая башня. Чем она была в прошлые века, я не знаю, вероятно, убежищем во время войны, теперь же близ ее верхушки виднелся неудобочитаемый циферблат, а внизу ящик для писем.

Гостиница, на которую нам указали в Карте, была полна; вернее, мы не понравились ее хозяйке. Нужно сказать, что мы с нашими длинными гуттаперчевыми дорожными мешками представляли собой очень сомнительные типы цивилизованных людей. Сигаретке казалось, что мы походим на лоскутников и ветошников.

– Скажите, господа, вы разносчики-купцы? (*Ces messieurs sont des marchands*)? – спросила нас содержательница гостиницы и, не ожидая ответа, который она нашла излишним в таком ясном случае, посоветовала нам отправиться к мяснику; он, по ее словам, жил близко от башни и отдавал комнаты путешественникам.

Мы пошли к мяснику, но он собирался переезжать, и все постели унесли, иначе говоря, ему не понравились наши ли-

ца. И в заключение мы услышали: «Скажите, господа, вы разносчики-купцы?».

Стало серьезно темнеть. Мы уже не могли различать лиц людей, встречавшихся нам и невнятно говоривших «здравствуйте». По-видимому, хозяева домов деревни Пон очень берегли масло, потому что мы не заметили ни одного освещенного окна на всей длинной улице. Я думаю, Пон самая длинная деревня на свете, впрочем, ведь в нашем положении каждый шаг казался нам втрое длиннее. Мы очень упали духом, подойдя к последней гостинице. Взглянув на темную дверь, мы застенчиво спросили, не можем ли мы переночевать в ней. Женский голос, очень ласковый, пригласил нас войти. Мы бросили мешки и сели.

В комнате стояла полная темнота, виднелся только красный свет в щелках и поддувалах печки. Наконец хозяйка зажгла лампу, чтобы посмотреть на своих новых постояльцев. Полагаю, темнота и спасла нас от нового изгнания, так как не могу сказать, чтобы она с удовольствием осматривала наши фигуры. Мы были в большой, пустой комнате, украшенной двумя аллегорическими литографиями, изображавшими «Музыку» и «Живопись» и копии с «Закона против пьянства». С одной стороны зала виднелся прилавок с полдюжиной бутылок. Двое крестьян, по-видимому, до смерти усталых, сидели в ожидании ужина. Некрасивая служанка возилась с заспанным ребенком лет двух. Хозяйка растолкала котелки на плите и стала жарить нам бифштексы.

– Скажите, господа, вы разносчики-купцы? – спросила она резко, и этим вопросом ограничился весь ее разговор с нами.

Мы сами начинали уже думать, не купцы ли мы? Никогда в жизни не встречал я людей с таким ограниченным кругом идей, как содержатели гостиницы в Поне. Понятия о хороших манерах и способе держаться в деревнях распространены не более банковых билетов. Стоит вам выйти из вашей колеи, как все ваши манеры делаются незаметными для окружающих. Жители Пона не могли видеть разницы между нами и разносчиками. Пока жарилось мясо, мы смогли убедиться, что все смотрели на нас, точно на совершенно равных себе, и наша утонченная вежливость и усилия завязать разговор казались им вполне согласным с характером разносчиков. Следует сказать к чести этой профессии во Франции, что мы не могли побить даже таких судей нашим оружием.

Наконец нас позвали к столу. Двое крестьян (один из которых казался очень истощенным и был бледен, точно ослабев от переутомления и плохой пищи) ужинали какой-то кашей, картофелем в мундире, запивая все это кофе с неочищенным сахаром. Перед ними стояло также по стакану деревенского пива. Хозяйка, ее сын и девушка ели те же кушанья. Сравнительно с этой пищей наш ужин представлялся настоящим банкетом. Нам подали бифштексы, может быть, недостаточно мягкие, картофель, сыр, пиво и белый сахар к

кофе.

Вы видите, что значит быть джентльменом... простите, что значит быть разносчиком. Я до тех пор никогда не думал, чтобы бродячий торговец представлял собой важное лицо в сельском трактире, а между тем убедился, что это так. Он в своей сфере пользуется первенством человека, занимающего отдельный салон в наших нарядных гостиницах. Чем больше вы всматриваетесь, тем более замечаете бесконечный ряд градаций между людьми; может быть, не найдется ни одного бедняка, который оказался бы на самой низшей ступени общественной лестницы; каждый находит, что он выше кого бы то ни было другого, и это поддерживает его гордость.

Мы были очень недовольны кушаньями, в особенности Сигаретка; я же старался доказать ему, что все меня занимает, и жесткий бифштекс, и все, все... Согласно правилам Лукреция, жесткое мясо должно было бы казаться нам лучше при взгляде на кашу, которую ели другие, но на практике это не оправдывалось. Вы можете знать, что другие живут гораздо беднее вас, но вам неприятно (я чуть было не сказал, что это нарушает этикет вселенной) сидеть за одним столом с бедняками и есть порядочное кушанье, видя, как жалкие люда жуют корки. Я не видал этого с тех пор, как в школе жадный мальчик один на глазах товарищей съедал кекс, подаренный ему в день рождения. Я и теперь помню, как противно было смотреть на него, и никогда не предполагал, что мне придется разыгрывать его роль. Но вы опять видите, что

значит быть бродячиш торговцем!

Без сомнения, в нашей стране бедный класс гораздо милосерднее, нежели богатый. И мне кажется, что это главным образом зависит от того, что в менее достаточных классах граница между людьми различных состояний не так резка. Рабочий или торговец не в силах укрываться от своих менее зажиточных соседей. Если он позволяет себе какую-нибудь роскошь, на него смотрят глаза дюжины людей, для которых подобные расходы недоступны. А что же ведет более прямым образом к состраданию? Поэтому бедный человек, который борется, чтобы приобрести большие жизненные удобства, видит истину и знает, что каждый лишний кусок, который он проглатывает, вырван из рук голодного.

Когда же человек достигает известного благосостояния, с ним повторяется то, что бывает с воздухоплателем, который поднимается на воздушном шаре: он проходит через полосу облаков, и весь подлунный мир делается для него невидимым. Он созерцает только небесные тела, подчиненные порядку и блестящие, как новенькие. Его окружает самое нежное внимание Провидения, он охотно сравнивает себя с лилиями или жаворонками небесными. Конечно, он не поет, но он кажется таким незаносчивым в своем открытом ландо! Если бы весь мир обедал за одним столом, его философское настроение пошатнулось бы.

Глава VII

Пон на Самбре.

Странствующий купец

Как лакеи в Мольеровской комедии были застигнуты во время их барской жизни настоящим дворянином, так и нам пришлось столкнуться с настоящим разносчиком. Точно для того, чтобы урок был сильнее для падших джентльменов, в нашу гостиницу приехал торговец гораздо более уважаемого сорта, нежели такие простые разносчики, какими, как предполагалось, были мы. Он явился, как лев среди мышей или военный корабль между челноками! Действительно, новый постоялец не заслуживал названия торговца-разносчика, он мог считаться странствующим купцом.

Вероятно, было около половины девятого, когда достойный *monsieur* Hector Gilliard из Мобежа остановился перед дверью постоялого двора, приехав в крытой фуре, запряженной ослом; он весело позвал хозяев. Это был худощавый, нервный, высокий как виселица человек, напоминавший не то актера не то жокея. Очевидно он счастливо жил, не получив никакого образования, потому что совершенно свободно и просто прибегал, когда ему заблагорассудится, к мужскому роду и в течение вечера употребил несколько самых фантастических цветистых будущих глагола. С ним приеха-

ла его жена, красивая молодая женщина, завязавшая волосы желтым платком, и сын, мальчик лет четырех, в блузе и военном кепи. Ребенок был одет значительно лучше, нежели отец или мать. Нам сказали, что он уже в закрытой школе, но так как праздники только что начались, то малютка проведет их со своими родителями. Очаровательное время-препровождение. Разве нет? Целый день ездить с отцом и матерью в крытой фуре, полной неоцененных сокровищ, видеть, как зеленые поля двигаются по обе стороны дороги, а дети всех деревень завистливо смотрят на счастливого наследника купца! Да разве это не прелестно? Право, во время праздников гораздо веселее быть сыном странствующего купца, нежели наследником самого крупного хозяина бумагопрядильной фабрики на свете! И если я когда-либо в жизни видел наследного принца, то именно в мастере Жильяре.

Пока господин Гектор и сын содержательницы гостиницы распрягали осла, ставили его в конюшню и запирали все ценное под замок, хозяйка подогрела оставшиеся после нас бифштексы и, нарезав картофель на ломтики, поджарила их. Жена купца принялась будить полусонного усталого мальчика, который и хмурился, и капризничал от света. Едва он окончательно проснулся, как начал приготавливаться к ужину, съев сладкую лепешку, несколько незрелых груш и холодных картофелин, что, насколько я мог судить, положительно способствовало его аппетиту.

Хозяйка гостиницы, воспламенившаяся чувством мате-

ринского соревнования, разбудила свою дочку, идвоих детей познакомили. Маленький Жильяр с мгновение смотрел на девочку, очень походя на собаку, видящую свое собственное отражение в зеркале. В эту минуту лепешка всецело поглощала его. По-видимому, его мать очень огорчилась, заметив, что он выказал так мало влечения к прекрасному полу, и выразила свои чувства очень откровенно, но прибавила, что с годами все изменится.

Конечно, наступит время, когда ее сын станет обращать больше внимания на девушек и значительно меньше думать о матери (будем надеяться, что это понравится ей не меньше, чем она предполагает). Странная вещь, те самые женщины, которые выказывают наибольшее презрение к мужской половине человечества, по-видимому, даже в самых безобразных ее представителях находят особенную прелесть и достоинства, когда эти представители их сыновья.

Маленькая девочка смотрела на сына купца дольше и внимательнее, вероятно, потому, что она была дома, а он путешествовал и привык к новым предметам. Кроме того, она не была занята лепешкой.

В продолжение всего ужина говорилось только о юном Жильяре. Его родители были до безумия очарованы им. Monsieur все говорил об уме своего сына, о том, что он знает всех школьников по имени, и, когда мальчик совершенно не поддержал своей славы, принялся толковать, до чего малютка осторожен и точен; отец прибавил, что если мальчика

спрашивают о чем-нибудь, он сидит и думает, думает, а если не знает, что сказать, «ну, право же, ничего вам не ответит», «*ma foi, il ne vous le dira pas*». Это, конечно, высокая степень осторожности! По временам господин Гектор с полным ртом обращался к жене, осведомляясь у нее, каких лет был мальчик в такое-то или такое-то время, когда он сказал или сделал что-либо памятное. Я заметил, что *madame* по большей части отклоняла эти вопросы. Она не была хвастлива, но не могла вдоволь нацеловаться с сынишкой; казалось, ей доставляло тихое удовольствие подчеркивать все мелкие счастливые события его маленькой жизни. Ни один школьник не мог бы пространнее толковать о праздниках, которые только что начинались, и меньше вспоминать о мрачном времени учения, неизбежно последующем за ними. Она показала с гордостью, может быть, в сущности, мелочной, карманы сына, набитые волчками, свистками, шнурками. Когда она отправлялась куда-нибудь по делу, он ходил с нею, и если торг бывал заключен, получал из барыша один су. Да, эти добряки сильно баловали сынишку. Однако они смотрели за его манерами и делали ему замечания за маленькие погрешности против приличий, что несколько раз случилось во время ужина.

В общем, я не чувствовал особенной обиды при мысли, что меня приняли за торговца-разносчика: я мог думать, что я ем красивее или что мои ошибки во французском языке иного порядка, нежели погрешности господина Гектора, но

действительность показала мне, что хозяйка гостиницы и два мужика не обращали ни малейшего внимания на эти достоинства. По существу мы и Жильяры стояли на одной ноге в гостинице Пона. Господин Гектор, пожалуй, держался свободнее и говорил со всеми развязнее нас, но это объяснялось тем, что он приехал в фуру, на осле, тогда как мы, бедные, пришли пешком. Полагаю, все остальные думали, что мы умираем от зависти (хотя и не в дурном смысле этих слов), видя, что мы не достигли в нашей профессии высоты новоприезжего.

Одно поразило меня, едва эти незлобивые простые люди появились на сцене, как все остальные растаяли, сделались человечнее и разговорчивее. Не думаю, чтобы странствующий купец вез с собою необычайную сумму денег, но мне кажется, что у него было хорошее сердце. Наш свет до того полон превратностей, что если вы найдете в человеке одно или два чувствительных места, в особенности же если вы увидите, что целая семья живет в хороших отношениях между собой, вы, конечно, можете быть довольны и считать, что и все остальное в этих людях прекрасно, или (это еще лучше) можете даже не требовать ничего остального, решив, что десять тысяч дурных черт не превратят хорошей черты в менее хорошую.

Время шло. Господин Гектор зажег конюшенный фонарь и отправился осмотреть фуру, а мой юный джентльмен стал снимать с себя свое платье, делать гимнастику на коленях

матери, а потом с хохотом соскочил на пол.

– Вы ляжете спать одни? – спросила его служанка.

– Ну, этого нечего бояться, – сказал мастер Жильяр.

– Но ведь ты же спишь в школе один? – возразила мать. –

Будь мужчиной!

Но мальчик ответил, что школа школой, а праздники совсем другое дело, что в школе – дортуары, и закончил спор градом поцелуев; мать улыбнулась, бесконечно довольная.

Конечно, как выразился маленький мальчик, нечего было бояться, что его уложат спать одного, потому что для трио приготовили всего одну постель. Мы же твердо потребовали, чтобы нам дали на чердаке каморку с двумя кроватями. В нашем помещении оказалось еще три гвоздя для шляп и один стол, но на нем не было ни стакана, ни воды; к счастью, окно отпиралось.

Не успел я заснуть, как весь чердак наполнился сильным храпением; храпели, как мне кажется, все сразу: Жильяры, крестьяне и постоянные обитатели постоялого двора. Молодой месяц светил на село и на гостиницу, в которой ночевали все торговцы-разносчики.

Глава VIII

На Самбре. К Ландреси

Утром, когда мы сошли в кухню, хозяйка указала нам два ведра воды за дверью на улицу. «Voilà de l'eau pour vous débarbouiller», – сказала она. Итак, нам пришлось умываться, пока госпожа Жильяр, стоя на пороге двери, чистила ботинки всему семейству, а господин Гектор, весело насвистывая, укладывал для дневной кампании мелкие вещицы в ящики переносного комода, составлявшего часть его багажа. Их сын осыпал кругом себя крошками бисквитов Ватерлоо.

Кстати, я удивляюсь, почему во Франции они называются бисквитами Ватерлоо? Может быть, их зовут бисквиты Аустерлиц? Все зависит от взгляда. Помните ли вы француза, который, путешествуя через Соутгамптон, вышел на станции Ватерлоо и был принужден переехать через мост Ватерлоо? Кажется, ему хотелось вернуться домой.

Пон стоит тоже на реке, но хотя от Карта по сухому пути до него всего десять минут ходьбы, по воде между ними целых десять тяжелых километров. Мы оставили мешки в гостинице и пошли к нашим байдаркам через влажные фруктовые сады. Несколько детей собралось смотреть на наше отплытие, но мы уже не были вчерашними таинственными существами; отплытие, отъезд и вообще исчезновение гораздо

менее романтичны, нежели необъяснимое появление среди золотого вечернего света. Мы можем быть глубоко поражены первым видом привидения, но когда оно начнет исчезать, мы будем смотреть на него с относительным равнодушием.

Когда мы явились в гостиницу Пона за нашими мешками, все ее обитатели были поражены. При виде двух блестящих нежных лодочек с развевавшимися союзными флагами они поняли, что у них были в гостях ангелы. Хозяйка гостиницы стояла на мосту и, вероятно, жаловалась, что написала нам такой маленький счет. Ее сын бегал взад и вперед и звал соседей смотреть на нас. Таким образом мы ушли от берега, на котором стояла целая толпа восхищенных наблюдателей. Эти господа бродячие торговцы! Вот идея! Теперь их положение выяснилось, но, увы, слишком поздно.

Целый день стояла дождливая погода, и время от времени мы получали холодный душ. Мы промокли до костей, частью высохли на солнце, потом вскоре вымокли еще раз. Однако порой наступали спокойные промежутки; в особенности были хороши минуты, в которые мы проходили мимо леса Мормаль. Мормаль² – зловещее название для слуха, но место ласкало взгляд и обоняние. Лес торжественно стоял вдоль реки. Одни сучья деревьев купались в воде, другие раскидывались над нашими головами и составляли сплошную стену листьев. Разве лес не город природы, полный незлобивых живых существ, город, в котором нет ничего мертвого и ни-

² Mort – смерть, mal – злой, худой.

чего сделанного руками. Сами его граждане – дома и общественные монументы. На свете нет ничего более живого и вместе с тем более спокойного, нежели лес; в сравнении с ним двое людей, минующих его на байдарках, чувствуют себя такими маленькими, такими суетными.

Конечно, изо всех благоуханий на свете аромат множества деревьев самый нежный и укрепляющий. Море имеет резкий, сильный запах, который проникает в ноздри, точно запах нюхательного табака, и приносит с собой понятие об открытой воде и больших кораблях. Благоухание же леса, близкое к аромату моря по своим тоническим качествам, гораздо нежнее его. Затем, запах моря постоянно одинаков, а благоухание леса разнообразно до бесконечности. В течение дня изменяется не только его сила, но и характер. Вдобавок, породы деревьев в различных полосах леса как бы живут в несходной атмосфере. Обыкновенно преобладает смола елок, но некоторые леса кокетливее, и дыхание Мормалля, доносившееся до нас в этот серый день, было пропитано нежным ароматом дикого шиповника.

Я хотел бы, чтобы наша дорога всегда шла мимо лесов. Деревья – самое вежливое общество на свете. Разве старый дуб, стоящий на своем месте со времени эпохи, предшествовавшей реформации, более могучий, нежели многие башни, и более суровый, нежели многие горы, а между тем подверженный смерти и болезни, как мы с вами, не составляет сам по себе живого поучения? Когда человек видит множество

акров, полных такими патриархами, с почти переплетающимися корнями, и качающимися зелеными вершинами, когда он любуется их стройным потомством, созерцает здоровый и прекрасный лес, придающий свету окраску, а воздуху аромат, не смотрит ли он на самую лучшую пьесу из репертуара природы? Гейне желал лежать, как Мерлин, под дубами Бросельянды. Я не удовольствовался бы одним деревом, но если бы лес рос, как бананы, я хотел бы, чтобы меня похоронили под главным корнем целой рощи; частицы моего существа постепенно перешли бы во все дубы, и мое сознание разлилось бы по лесу и придало бы одно общее сердце этому собранию зеленых колонн, так что сами деревья могли бы любоваться своей красотой и своим величием. Я уже чувствую, как тысячи белок прыгают с ветки на ветку в моем пространном мавзолее, а птицы и ветер пролетают над его трепетной поверхностью.

Увы, лес Мормаль невелик, и мы недолго скользили мимо его опушки. Все остальное время дождь шел с перерывами, а ветер налетал шквалами, и капризная, неприветливая погода жестоко надоела нам. Удивительно, дождь начинался каждый раз, когда нам приходилось переносить на себе байдарки через шлюзы, причем открывались и наши ноги для непогоды каждый раз. Такого рода вещи возбуждают негодование против природы. Все думаешь, почему бы дождю не налететь пятью минутами раньше или пятью минутами позже, если у погоды нет умышленного желания навредить вам.

У Сигаретки был макинтош, что делало его более или менее выше подобных неприятностей, но мне приходилось беззащитно выносить нападение. Я начал вспоминать, что природа – женщина. Мой товарищ, бывший в более розовом настроении, слушал с удовольствием мои иеремиады и иронически поддакивал. Он приводил в пример, как нечто сродное погоде, прилив, который, говорил Сигаретка, был создан для смущения плователей на байдарках, хотя в то же время служил для луны средством проявлять свое пустое тщеславие.

На последних шлюзах, невдалеке от Ландреси, я отказался двигаться далее и под дождем сел на берег, чтобы закурить живительную трубку. Какой-то разговорчивый старичок, по моему мнению, бывший дьяволом, подошел ко мне и стал расспрашивать о нашем путешествии. Я от полноты сердца рассказал ему все наши планы, а он в ответ заметил, что еще никогда в жизни не слыхивал о более нелепом предприятии. Неужели я не знаю, спросил он меня, что всю дорогу нас ожидали только шлюзы, шлюзы и шлюзы, не говоря уже о том, что в это время года Уаза совершенно пересыхает?

– Сядьте-ка в поезд, мой милейший юный господин, – сказал он, – да отправляйтесь к вашим родителям.

Злые речи старика так ошеломили меня, что я только молча смотрел на него. Дерево никогда не говорило бы со мной таким образом! Наконец, я собрался с духом и разомкнул губы. Мы сюда приехали из Антверпена, сказал я ему, то есть сделали порядочное путешествие и, несмотря на угрозы,

приведем в исполнение и остальные планы. «Да, – сказал я, – если бы у нас не было никаких иных побудительных причин, я сделал бы это теперь именно потому, что вы осмелились сказать, что нам не удастся довести дело до конца». Милый старичок посмотрел на меня насмешливо, сказал что-то о моей байдарке и пошел прочь, покачивая головой.

Я все еще курил, когда ко мне подошли два молодых крестьянина, вообразившие, что я лакей Сигаретки, вероятно, при виде моей неприкрытой фуфайки, которую они сравнивали с непромокаемым плащом моего друга. Молодые люди расспрашивали меня о моем месте и о характере моего господина. Я сказал им, что он довольно добрый малый, но, к сожалению, забрал себе в голову мысль об этом нелепом путешествии.

– О, нет, нет, – сказал один из крестьян, – не говорите так, ваше путешествие совсем не нелепость, напротив, ваш барин задумал смелую вещь.

Мне кажется, в образе крестьян передо мной явились ангелы, желавшие поддержать мое мужество. Действительно, я в качестве недовольного слуги выдавал все замечания старика за свои собственные и, слыша, как эти прелестные молодые люди отбрасывали их, точно тучи мух, я чувствовал, что мое мужество крепнет.

Когда я рассказал все это Сигаретке, он ответил сухо:

– Вероятно, у крестьян сложилось странное понятие о поведении английских слуг, потому что подле шлюза ты обра-

щался со мной, как с диким животным.

Я обиделся. Однако мой характер, действительно, испортился, это факт.

Глава IX

В Ландреси

В Ландреси все еще лил дождь и дул ветер, но мы нашли комнату с двумя кроватями, с полной мебелировкой, с настоящими кувшинами, в которых была налита настоящая вода. Получили мы и настоящий обед, не без настоящего вина. После того как я был разносчиком-купцом целый вечер и в течение целого дня был мишенью бешенства стихий, все эти удобства пролили мне в сердце как бы солнечный свет. За обеденным столом мы встретили английского фруктовщика, который путешествовал с фруктовщиком бельгийским; вечером, сидя в кафе, мы видели, как наш соотечественник заплатил много денег за вино, и, не знаю почему, это нам понравилось.

Нам пришлось пробыть в Ландреси дольше, нежели мы ожидали, потому что на следующий день наступила прямо-таки какая-то сумасшедшая погода. Вряд ли кто-нибудь добровольно выберет Ландреси местом своего отдыха, потому что почти весь этот городок состоит исключительно из укреплений. Внутри стен стоит несколько групп домов, длинный ряд барачков и церковь, все это, насколько позволяют обстоятельства, изображает город. По-видимому, в Ландреси нет никакой торговли, и лавочник, у которого я

купил кремень и огниво за шесть пенни, был так тронут, что наполнил мои карманы запасными кремнями. Из общественных зданий нас заинтересовали только гостиница и кафе. Однако мы посетили церковь. Там лежит маршал Кларк. Но так как ни один из нас никогда не слыхивал об этом военном герое, вид его гробницы не растрогал нас, не лишил мужества.

Во всех гарнизонных городах парады, тревоги и так далее вносят в жизнь граждан романтическое разнообразие. Трубы, барабаны и дудки сами по себе превосходнейшая вещь на свете, когда же они возбуждают в уме мысли о движущихся армиях и живописных превратностях войны, то переполняют сердце гордостью. В тени маленького городка Ландреси, в котором почти не замечалось другого движения, военные воспоминания производили особенное волнение. Действительно, чего-либо иного достопримечательного в Ландреси не замечалось. Тут можно было слышать, как среди тьмы шел ночной патруль, как раздавались шаги солдат и резко вибрировал звук барабана. Это напомнило, что даже глухой городок входил в сеть военной системы Европы, что когда-нибудь его могло окружить кольцо порохового дыма пушек и грохот выстрелов, что и он имел возможность прославиться и занять место между крепостями Европы.

Барабан, благодаря своему воинственному голосу, замечательному действию, даже благодаря своей неуклюжей и комической форме, стоит особняком среди других гремящих

инструментов. И если правда, как я слышал, что барабаны покрываются ослиной кожей, в этом есть едкая ирония! Точно недостаточно в течение жизни многострадального животного его кожа терпела, то от ударов лионских купцов, то от самонадеянных еврейских пророков, ее и после смерти осла не оставляют в покое! Из его бедного крупа выкраиваются куски кожи, натягиваются на барабан, и день и ночь гремят вдоль улиц каждого гарнизонного города Европы. На высотах Альмы и Шпихерна и везде, где развевается красный флаг смерти, и она разносит удары вместе с выстрелами пушек, с полком идет мальчик-барабанщик, который с бледным лицом шагает по телам своих товарищей и колотит по куску кожи из крупа мирного осла.

Обыкновенно, когда человек колотит по ослиной шкуре, он вполне непроизводительно тратит свои силы; мы знаем, какое это имеет слабое действие при жизни осла, как мало шагу прибавляет он от побоев. Но в новом и мрачном его существовании после смерти кожа осла сильно вибрирует под палочками барабанщика, и каждый звук от удара по ней западает в человеческое сердце, вносит в него безумие, а в пульсацию крови то биение, которое мы в нашей напыщенной речи прозываем героизмом. Не кроется ли в этом некоторая месть преследователям осла? «В старые дни, – мог бы он сказать, – вы колотили меня, заставляя взбираться на холмы и спускаться с них, колотили в долинах и на горах, а я все терпел; но теперь, когда я умер, эти удары, еле слышные на

полевых дорогах, превратились в потрясающую музыку перед бригадой; за каждый удар, который вы роняете на мой прежний плащ, вы платите тем, что вы видите, как один из ваших товарищей шатается и падает».

Вскоре, после того как барабанщики прошли мимо кафе, Сигаретка и Аретуза почувствовали желание спать и отправились в свой отель, бывший только через одну или две двери от кафе. Хотя мы были довольно равнодушны к Ландреси, но Ландреси не остался равнодушным к нам. Мы узнали, что в промежутках между шквалами народ сбежался смотреть на наши лодочки. «Сотни людей, – так говорил отчет, хотя это плохо вязалось с нашим понятием о городке, – сотни людей осматривали их в том угольном сарае, в котором они лежали». В Ландреси мы превратились во «львов». Мы то, бывшие накануне вечером разносчиками-торговцами в местечке Пон!

У самой двери отеля нас нагнал сам «juge de Paix», деятель, насколько я понимаю, вроде шотландского шерифа. Он вручил нам свою визитную карточку и пригласил нас пойти поужинать к нему, пригласил так мило, так вежливо, как только умеют говорить французы. Этим мы окажем честь Ландреси, сказал он, и хотя мы отлично знали, что могли принести мало чести городу, но решили, что не принять приглашения судьи было бы грубостью.

Дом судьи стоял очень близко, это было отлично устроенное помещение холостяка с интересной коллекцией старых

медных сковород, висевших по стенам. Многие из них были покрыты очень искусной резьбой. При виде их невольно являлась мысль о том, сколько колпаков склонялось над этими сковородами, сколько над ними раздавалось шуток, сколько близ них было сорвано поцелуев, сколько раз они безо всякой пользы красовались на ложе смерти. Если бы сковородки могли говорить, о каких только нелепых, отвратительных сценах они ни рассказали бы нам!

Вино судьи было превосходно. Когда мы похвалили одну бутылку, хозяин дома заметил: «Я и не говорю, что она из худших». Право, не знаю, когда англичанин научится любезному гостеприимству. Оно достойно изучения, украшает жизнь и придает значение самым обыденным минутам.

За столом сидело еще два представителя Ландреси. Один был сборщиком каких-то податей (каких именно, я забыл), другой, нам сказали, занимал место главного нотариуса городка. Итак, в силу случайности, все мы пятеро были более или менее причастны к юриспруденции. Благодаря этому беседа должна была сделаться профессиональной. Сigaretка прекрасно излагал законы. Потом я перешел к шотландскому закону о незаконнорожденных, о котором, с удовольствием могу сказать, ровно ничего не знаю. Чиновник и нотариус, оба люди женатые, стали обвинять судью, холостяка, в том, что он первый навел беседу на эту тему. Судья опровергал их обвинения с очень довольным, веселым видом, какой в подобных случаях является у всех людей – французов и ан-

гличан. Как странно, что все мы, в минуты дружеских бесед, любим, чтобы нас считали негодьями по отношению к женщинам.

По мере того как надвигался вечер, я находил вино все лучше и лучше; настроение же мое было еще лучше вина; общество оказалось прелестно веселым. В течение всего нашего путешествия нигде ни разу нам не было выражено более значительного расположения. Так как мы были в доме судьи, то не заключалось ли в его любезности известной доли официального приветствия? И вот, вспомнив величие Франции, мы отдали дань ее любезности. Ландреси уже давно спал, когда мы вернулись в наш отель; часовые его укреплений ожидали рассвета.

Глава X

Канал Самбры и Уазы. Барки

На следующий день мы отплыли поздно и под дождем. Судья под зонтиком любезно проводил нас до шлюзов. Теперь относительно погоды мы выказывали такое смирение, которого не часто достигает человек где бы то ни было, кроме шотландской горной страны. Лоскут синего неба или просвет солнца заставляли наши сердца ликовать и петь. Когда шел не особенно сильный дождь, мы находили день почти хорошим.

В дали канала стояли длинные линии барок, многие из них казались нам очень нарядными и похожими на корабли. Их покрывал слой архангельского вара, кое-где они были размалеваны зеленой и белой краской. На некоторых виднелись хорошенькие чугунные перила и целый партер из цветов в горшках. Дети играли на палубах, обращая так мало внимания на дождь, точно выросли в Шотландии. Мужчины удили рыбу, забрасывая лесы через планширы, некоторые сидели под зонтиками, женщины стирали. Каждая барка могла похвалиться своей собакой, не чистой породы и исполнявшей обязанности сторожа. Пес яростно лаял на байдарки, провожая нас до конца своего судна, и таким образом передавал право слова собаке следующей барки. Мы видели

около сотни этих судов в течение дня, все они стояли друг за другом, выстроившись, как дома улицы. И на каждой барже нас встречала собака. Мы точно осматривали зверинец, как заметил Сигаретка.

Странное впечатление производили эти маленькие города. Они, с их цветочными горшками, дымящимися трубами, стирками и обедами, казались принадлежностями пейзажа, навсегда прикрепившимися к одному месту. Между тем я знал, что едва откроется канал внизу, как барки распустят паруса или впрягут лошадей и рассеются по различным частям Франции, случайная деревня распадется. Дети, игравшие сегодня вместе, каждый у порога жилища своего отца, где и когда они встретятся?

Некоторое время нас занимал разговор о барках; мы предполагали провести старость на каналах Европы. Мы мечтали медленно двигаться, то плывя вдоль быстрой реки, на буксире у парохода, то по целым дням ожидая бечевых лошадей на каком-нибудь незначительном соединительном водном пути. Предполагалось, что мы займемся на палубе гончарным ремеслом; мы уже видели, как во всем величии старости сидим на нашей палубе, а наши белые бороды спускаются нам до колен. Мы собирались увлечься раскрашиванием фаянса, так что на судах целого света не было бы белого цвета свежее, а зеленого изумруднее, нежели наши. В каютах мы хранили бы книги, горшочки с табаком и бутылки старого бургундского, красного, как апрельская фиалка, вина.

У нас была бы свирель, из которой Сигаретка извлекал бы нежную музыку под звездами; потом, отложив ее в сторону, он начинал бы петь голосом, может быть, менее густым, чем в былое время, и с некоторой дрожью, но его псалмы звучали бы торжественно и глубоко.

Все вместе взятое вселило в меня желание посетить один из этих идеальных плавучих домов, занимавших наши грезы. Выбор мне представился большой; я миновал множество барок, возбуждая лай собак, вероятно, считавших меня бродягой. Наконец, я заметил красивого старика и его жену, смотревших на меня с некоторым вниманием. Я поздоровался с ними и заговорил, начав с замечания насчет их собаки, походившей на понтера. Потом я похвалил цветы madame, а после этого комплимента перешел к восхищению образом жизни барочников.

Если бы вы попробовали сделать нечто подобное в Англии, вы получили бы только грубость. Вам сказали бы, что эта жизнь ужасна, и, конечно, не обошлись бы без намека на ваше собственное лучшее положение. Но во Франции каждый признает свое собственное счастье, и это очень нравится мне. Все французы знают, с какой стороны их хлеб помазан маслом, и с удовольствием показывают это другим, что, без сомнения, составляет лучшую часть религии. Им стыдно жаловаться на бедность, что я считаю лучшей частью мужества. Я слышал, когда одна женщина в Англии, бывшая в недурном положении и имевшая достаточно большие деньги

в руках, с ужасными жалобами говорила о своем сыне, как о ребенке бедняка. Я не сказал бы этого герцогу Вестминстерскому. Наоборот, французы же полны чувством независимости, может быть, оно следствие их, как они называют, республиканских учреждений? Вероятнее, это результат того, что во Франции мало истинно бедных людей, а потому попрошайкам трудно поддерживать друг друга.

Старики на барке пришли в восторг, слыша, что я хвалю их жизнь. Они сказали мне, что им понятно, почему *monsieur* завидует им. Конечно, *monsieur* богат и мог бы сделать речную баржу, хорошенькую, как загородный дом, *à la jolîe comme un château*; затем они пригласили меня взойти на палубу их плавучей виллы. Старики извинились за каюту, они не были достаточно богаты, чтобы устроить ее как следует.

– Вот с этой стороны следовало бы поместить камин, – объяснил муж, – потом посередине поставить письменный стол с книгами и со всем остальным, тогда каюта была бы вполне комфортабельной, *ça serait tout-à-fait coquet*.

И он оглядывался с таким видом, точно уже сделал все улучшения. Очевидно, не в первый раз он в воображении украшал каюту, и я не удивлюсь, если узнаю, что, снова показывая свою барку, он покажет и стол, поставленный посередине каюты.

У *madame* были три птички в клетке. «Простые, – объяснила она, – хорошие птицы так дороги». Они хотели было купить «голландца» в прошлом году в Руане. «Руан? – по-

думал я. – Неужели весь этот дом с его собаками, птицами и дымящимися трубами попадал так далеко? Неужели между холмами и фруктовыми садами Сены он был таким же обыкновенным предметом, как между зелеными равнинами Самбры?» Но «голландцы» стоят по пятнадцати франков за штуку, только вообразите, пятнадцать франков!

– Pour un tout petit oiseau, – за совсем маленькую птичку! – прибавил муж.

Я продолжал восхищаться, а потому все извинения окончились, и милые барочники принялись хвастаться своей баржей и счастливой жизнью; казалось, они были императором и императрицей Индии. Выражаясь шотландским словом, «это ласкало слух» и привело меня в прекрасное настроенное духа. Если бы только люди знали, до чего ободряется человек, когда он слышит, как его собеседник хвалится, раз тот хвалится тем, что он действительно имеет, они, я думаю, хвастались бы охотнее и веселее.

Барочники стали расспрашивать о нашем путешествии. Если бы вы видели, как они сочувствовали нам. Казалось, они были почти готовы отдать баржу и последовать за нами; но эти *canaletti* – цыгане, наполовину прирученные. Полуприручение сказывалось в них в милой форме. Внезапно лицо *madame* омрачилось.

– Serpendant... – начала она и вдруг остановилась, потом спросила, холостой ли я.

– Да, – ответил я.

– А ваш друг, который только что миновал нас?

– Он тоже не женат.

О, тогда все прекрасно, ей было бы грустно, если бы жены оставались одни дома, но так как жен не было, мы поступали отлично.

– Видеть свет, – сказал муж, – il n'y a que ça. Нет ничего лучше этого. Человек сидит как медведь в своей собственной деревне, – продолжал он, – прекрасно, он ничего не видит. А потом смерть и конец всего. И он ничего не видал.

Madame напомнила мужу об одном англичанине, который проезжал на пароходе.

– Может быть, мистер Моенс на «Итене»? – подсказал я.

– Именно, – подтвердил муж, – с ним были его жена, вся семья и слуги. Он выходил на берег у всех шлюзов и спрашивал названия деревень или у лодочников, или у сторожей при шлюзах, и все записывал и записывал... О, он писал чудовищно много, я думаю, он держал пари.

Пари было довольно обыкновенным объяснением наших собственных подвигов, но такое толкование обилия заметок показалось мне довольно странным.

Глава XI

Разлив Уазы

На следующий день в Этре мы около девяти часов утра поставили наши байдарки на легкую деревенскую телегу и вскоре сами последовали за ними, идя вдоль приветливой долины, полной хмелевых садов и тополей. Там и сям на склонах гор стояли красивые деревни, особенно хороша была деревня Тюпеньи с хмелем, гирлянды которого свешивались через ограды на улицу; виноград заплетал все дома. Наше появление возбуждало энтузиазм, ткачи выглядывали из окон; при виде лодочек, *barquettes*, дети кричали от восторга, а пешеходные блузники, знакомые нашего возницы, шутили с ним по поводу его багажа.

Раза два начинался дождь, но легкий и мимолетный. Среди всех этих полей, среди зелени воздух был чист и ароматен. В нем еще не чувствовалось приближения осени.

В Воденкуре мы спустились на воду с маленького лужка против мельницы, в эту минуту солнце вышло из-за туч и в долине Уазы все листья засияли.

Долгие дожди наполнили реку. От Воденкура вплоть до Ориньи быстрота течения все усиливалась, казалось с каждой новой милей его усердие разгоралось. Вода пожелтела, волновалась, сердито бежала между полузатопленными вет-

лами, сердито журчала вдоль каменистого берега. Уза извивалась в узкой и котловинистой долине... Река то с шумом бежала вдоль мелового основания горы и показывала нам редкие поля репы среди деревьев, то пробегала подле стен сада, через двери которого мы могли видеть священника, гулявшего на солнце... Потом листья сплетались в такую сеть перед нами, что у нас, казалось, не было выхода; виднелась только чаща ив, над которой возвышались вязы и тополя; под ветвями проносилась река да пролетал зимородок, точно обрывок голубого неба. Солнце проливало свои светлые мирные лучи на всю картину. Тени ложились на зыбкую поверхность потока так же отчетливо, как на твердый луг. Золотые искры сверкали в трепетных листьях тополей, и яркий дневной свет приближал к нам горы. Река не останавливалась ни на минуту, не делала передышки, а тростники, стоявшие вдоль ее берегов, беспокойно дрожали.

Вероятно, есть какой-нибудь миф – если есть, я его не знаю, – основанный на дрожи тростников. Редко что до такой степени поражает человеческий глаз. Эта дрожь – очень красноречивая пантомима ужаса; при виде такого количества испуганных существ, приютившихся в уголках вдоль берега, глупое человеческое создание невольно переполняется тревогой. Может быть, им просто холодно, да и немудрено, так как они стоят по пояс в реке. Или, может быть, они не могут привыкнуть к быстроте и ярости течения реки и к чуду ее бесконечного тела? Однажды Пан играл на их предках

и теперь руками своей реки он все еще играет на позднейших поколениях тростников в долине Уазы; он играет вечно одну и ту же мелодию, нежную и захватывающую, мелодию, которая говорит нам о красоте и ужасе мира.

Течение несло байдарку, как древесный лист. Оно подхватывало лодочку, колыхало и уносило ее, точно центавр нимфу. Приходилось сильно и упорно работать веслом, чтобы управлять байдаркой. Река так торопилась в море! Каждая капля неслась в панике, точно испуганная толпа. Но какая толпа была когда-либо так многочисленна, до того единоподушна? Все, что мы видели, мелькало мимо нас как бы в пляске. Взгляд состязался с несущейся рекой. Каждое мгновение требовало такого напряжения, что все наше существо вибрировало, как хорошо настроенный инструмент; кровь вышла из состояния летаргии и пробегала по всем большим и боковым дорогам вен и артерий. Так же бурно вливалась и вырывалась она из сердца; казалось, точно кровообращение было праздничным путешествием, а не делом постоянно повторяющимся в течение семи десятков лет подряд. Тростники покачивали головами, как бы предупреждая нас, и с трепетом говорили о жестокости, силе и холоде воды, о том, что смерть таится в водоворотах под ветвями ив. Но они были не в силах сойти с места, а тот, кто не двигается, всегда застенчивый советчик. Что касается нас, мы готовы были громко кричать от восторга! Если эта живая, прекрасная река действительно служила орудием смерти, старая злодейка одура-

чила сама себя. Я в одну минуту жил втройне. Я боролся со смертью каждым ударом весла, на каждом изгибе реки. Я редко так пользовался жизнью!

Мне кажется, что мы можем смотреть на нашу борьбу со смертью в следующем свете: если человек знает, что рано или поздно, во время путешествия его, наверное, ограбят, он в каждой гостинице будет требовать себе лучшего вина и считать все свои самые дорогие причуды чем-то отнятым от воров, в особенности же, когда он не просто тратит деньги, а помещает часть их на проценты, без риска их потерять. Каждый период усиленной, захватывающей жизни – нечто вырванное из рук страшного вора – смерти. Мы должны иметь как можно меньше в кармане и как можно больше в желудке в ту минуту, когда смерть остановит нас и потребует наших богатств. Быстрый поток – ее любимая хитрость и приносит ей много жертв в год, но когда я и она будем сводить наши счета, я засмеюсь в лицо, вспомнив часы, проведенные на верховьях Уазы.

К послеполуденному времени мы порядочно опьянели от света солнца и быстроты течения. Мы уже не могли сдерживать наше довольство. Байдарки были слишком малы для нас, нам хотелось выйти из них и растянуться на берегу. И вот мы раскинулись на зеленом лугу, закурили божественный табак и решили, что мир восхитителен. Это был последний счастливый час описываемого дня, и я с удовольствием останавливаюсь на нем.

С одной стороны долины на вершине мелового холма то показывался пахарь со своим плугом, то исчезал через равномерные промежутки времени. При каждом своем появлении он в течение нескольких секунд вырисовывался на фоне неба, походя, как заметил Сигаретка, на игрушечного Борнса, только что срезавшего плугом «горную маргаритку». Кроме него, если не считать реки, мы не видели ни одного живого существа.

По другую сторону долины из зелени листьев выглядывала группа красных крыш и колокольня. Какой-то вдохновенный звонарь извлекал из колоколов мелодию. В их песне было что-то очень нежное, очень трогательное. Нам казалось, что мы еще никогда не слыхали, чтобы колокола говорили так понятно или пели так мелодично, как в эту минуту. Вероятно, именно под такой напев прядильщицы и молодые девушки в шекспировской «Иллирии» пели: «Уйди, смерть!». Часто в благовесте слышится угрожающая нота, что-то настолько металлическое и ворчливое, что нам скорее тяжело, нежели приятно слушать его. Но эти колокола звучали то сильнее, то тише, образуя жалобную каденцу, которая привлекала слух, как припев народной песни, звонили не особенно громко, но полно, и их звуки, казалось, падали, говоря о сельской тишине, о старине, и походили на шум водопада или на журчание весеннего ручья. Звонарь, вероятно, добрый, степенный, разумный старик, погрузившись в думы, так нежно дергал за веревку, что мне хотелось попро-

свить его благословения. Я готов был благодарить священника, наследников усадьбы, тех лиц, от кого эти дела зависят во Франции, словом, того, кто оставил на этой колокольне старые милые колокола, придававшие прелесть вечеру; я благословлял людей, которые не сзывали митингов, не делали подписок, не печатали еженедельно в местных листках имен щедрых жертвователей с тем, чтобы заменить их новенькими созданиями Бирмингама, которые под управлением новоиспеченного звонаря наполняли бы эхо долины ужасными резкими звуками.

Наконец, благовест замолк, зашло и солнце. Представление окончилось. Долиной Уазы овладели тень и молчание. Мы с благодушными сердцами взялись за весла, точно люди, которые выслушали благородную проповедь, и вернулись работать. Здесь река была гораздо опаснее, встречались более частые и внезапные водовороты; все время нам приходилось бороться с трудностями. Временами попадались мелкие места; иные мы проходили, из-за других вынимали байдарки из воды и переносили их сухим путем. Но главное препятствие состояло в последствиях недавних сильных ветров. Через каждые двести-триста ярдов мы видели деревья, упавшие через реку; нередко было ясно, что одно дерево увлекло за собой несколько других. Иногда за вершиной дерева оставалось свободное пространство, и мы обходили зеленый мыс, слыша, как струйки журчат и переливаются между его маленькими веточками. Часто также, когда дерево пере-

кидывалось от берега до берега, можно было, пригибаясь к байдарке, проскользнуть под ним. Иногда приходилось взбираться на ствол и перетаскивать через него байдарку, там же, где вода неслась слишком быстро, оставалось только выходить на берег и нести на себе наши лодочки. Благодаря этому, в течение дня мы испытали множество приключений, и наше внимание сильно напрягалось.

Вскоре после остановки я шел впереди и по-прежнему прославлял солнце, быстроту движения и нежность церковных колоколов; вдруг река сделала один из своих львиных прыжков, повернула, и я увидел дерево, упавшее через гряды камней. Я направил свою байдарку к тому месту, где его ствол, казалось, поднимался довольно высоко над водой, а ветви были настолько редки, что я мог проскользнуть под ними. Человек, только что поклявшийся в вечном родстве со вселенной не может хладнокровно раздумывать, и не под счастливой звездой я принял решение, которое могло иметь для меня большую важность. Дерево поймало меня, и в то время как я силился сделать себя меньше в объеме и пробраться через ветви, река воспользовалась случаем и унесла мою лодку. «Аретуза» наклонилась на бок, выкинула все, что в ней было, освобожденная, прошла под деревом, выпрямилась и весело понеслась вниз по течению.

Не знаю, сколько времени употребил я на то, чтобы вскарабкаться на дерево за которое держался; во всяком случае это продолжалось дольше, нежели я желал; мои мысли име-

ли серьезное, почти мрачное направление, но я по-прежнему сжимал весло. Струи бежали, быстро относя вперед мои ноги; я еле успел высвободить плечи, и судя по весу, мне казалось, что вся вода Уазы собралась в карманах моих брюк. Не испытав подобного приключения, вы не поймете, с какой смертельной силой река тащит человека. Сама смерть схватилась за мои каблуки; это была ее последняя вылазка, и она сама приняла участие в борьбе. А между тем я все держал весло. Наконец, я на животе вполз на ствол и без дыхания лежал на нем, точно намокший комок хлеба, негодуя на несправедливость судьбы и все же невольно улыбаясь. Вероятно, для Борнса, стоявшего на вершине холма, я представлял собой жалкую картину. Но я по-прежнему держал в руке весло. На моей гробнице, если у меня будет гробница, я попрошу начертать слова: «Он держал свое весло».

Сигаретка давно прошел опасное место, так как если бы я меньше увлекался чувством восторженной любви ко вселенной, то, конечно, заметил бы, что по другую сторону дерева оставался свободный проход. Товарищ предложил приподнять меня, но так как в эту минуту я уже был на локтях, то отказался от его услуги и попросил лучше догнать беглянку «Аретузу». Я пробрался по стволу до берега и пошел по лугу вдоль реки. Мне было до того холодно, что сердце мое сжималось. Теперь я на собственном опыте понял, почему тростники так ужасно дрожали. Я сам мог бы дать им урок в этом отношении. Когда я подошел поближе к Сигаретке, он

насмешливо сказал мне, что сперва ему показалось, будто я делаю гимнастику, и что только потом он понял, что я просто дрожу от холода. Я обтёрся полотенцем и надел последний сухой костюм, оставшийся в моем резиновом мешке. Но в течение всего путешествия до Ориньи мне было не по себе. Я с неприятным чувством думал, что надел мое последнее сухое платье. К тому же борьба утомила меня, и я упал духом. Колокола звучали прелестно, но немного позже я услышал глухие звуки музыки Пана. Неужели злая река унесла бы меня и осталась по-прежнему красивой? В сущности, добродушие природы – только видимость.

Нам оставалось еще долго кружить по извилинам реки, когда мы пришли в Ориньи-Сент-Бенуат, уже совсем стемнело, и звучал вечерний колокол.

Глава XII

Ориньи-Сент-Бенуат.

Следующие день

На следующий день было воскресенье, и церковные колокола мало отдыхали, право не знаю, когда бы верующим предлагалось столько служб, как в этот день в Ориньи. Пока колокола весело пели среди яркого солнечного света, все окрестные жители со своими собаками спешили вдоль дорожек между реповыми и свекловичными полями.

Утром по улице прошел книжный разносчик с женой; он пел тягучую грустную мелодию: «O, France, mes amours», и это пение вызвало всех к дверям. Когда наша хозяйка пожелала купить у него слова песни, он сказал, что они не записаны. И не одну ее привлекают подобные жалобы. Есть что-то глубоко-трогательное в том, что французский народ, со времени войны, любит сочинять печальные песни. Раз в окрестностях Фонтенбло я видел одного лесника из Эльзаса; это было во время крестин, и кто-то запел «Les malheures de la France». Он поднялся из-за стола, окликнул сына, подле которого я сидел, и сказал ему, положив руку на его плечо: «Слушай и помни это, сын мой!» Через мгновение лесник ушел в сад, и я услышал, как он рыдал в темноте.

Французское оружие было посрамлено, французы потеря-

ли Эльзас и Лотарингию, и это нанесло жестокий удар терпению этого чувствительного народа; их сердца до сих пор горят ненавистью, не столько против Германии, сколько против Империи. В какой другой стране вы увидите, чтобы патриотическая песенка вызвала на улицу решительно всех жителей? Но огорчения увеличивают любовь, и мы до тех пор не узнаем, насколько мы англичане, пока не потеряем Индии. Независимость Америки до сих пор раздражает меня. Я не могу без отвращения думать о фермере Джордже и никогда не чувствую такой горячей любви к отечеству, как при виде звезд и полос или при мысли о том, чем могла быть наша страна!

Я купил книжечку разносчика и нашел в ней удивительную смесь. Рядом с самыми легкомысленными созданиями парижского музыкального рынка в ней встречалось много пасторалей, не лишенных поэзии и, как мне показалось, инстинкта независимости бедного класса Франции. Тут вы могли прочесть, как дровосек гордится своим топором, а садовник считал, что ему нельзя стыдиться своего заступа. Стихи, прославлявшие труд, были не очень хорошо написаны, но чувство искупало слабость или многословие выражений. Военственные же и патриотические песни оказались слезливыми женскими произведениями. Поэт прошел под ярмом Кавдинского ущелья; он пел об армии, посетившей могилу своей прежней славы, пел не о победе, а о смерти. В собрании разносчика был сборник под названием «Conscrits

français», который мог поспорить с самыми убедительными лирическими протестами против войны. Драться с таким настроением в душе было бы прямо невозможно. Если бы в день сражения самому храброму из солдат спели одну из этих песен, он побледнел бы; при ее звуках все полки побросали бы свое оружие.

Если мнение Флетчера насчет влияния народных песен справедливо, вы сказали бы, что Франция дошла до печального состояния. Но дело поправится само собой, и мужественный народ со здоровым сердцем наконец устанет горевать о своих несчастьях. Поль Дерулэд уже создал несколько военных стихотворений. Может быть, в них недостаточно трубных звуков, которые могли бы потрясти и увлечь сердце человека, в них нет лирического жара, и они производят несильное впечатление, но написаны в серьезном стоическом духе, который далеко завел бы солдат, бьющихся за правое дело. Чувствуешь, что Дерулэду можно доверить многое. Хорошо, если он привьет своим соотечественникам такие же свойства духа и им можно будет доверить их собственное будущее. Эти стихи – противоядие против «французских рекрутов» и тому подобных печальных произведений.

Мы с вечера оставили наши байдарки на попечении человека, которого будем называть Карнавал. Я нехорошо слышал его имя и, может быть, это для него недурно, потому что я не мог бы передать его имя потомству с похвалой. Вот к этому-то человеку мы и направились днем и встретили

у него целую маленькую депутацию, осматривавшую наши байдарки. Компания состояла из полного господина, отлично знавшего реку и любившего делиться своими знаниями, из очень элегантного молодого человека в черном сюртуке, немного лепетавшего по-английски и сейчас же заговорившего об оксфордских и кембриджских гонках, из трех красивых девушек, от пятнадцати до двадцати лет, и старичка в блузе, беззубого и с сильным провинциальным акцентом.

Это были лучшие представители Ориньи, как мне кажется.

Сигаретке понадобилось сделать какие-то тайные операции с его такелажем, и он ушел в сарай, поэтому мне одному пришлось занимать посетителей. Я волей-неволей играл роль героя. Молодая девушка вздрагивала, слыша об ужасах нашего путешествия, и я подумал, что было бы невежливо не отвечать на расспросы дам. Мой вчерашний случай, рассказанный вскользь, произвел глубокое впечатление. Повторялась история Отелло, только с тремя Дездемонами и с симпатизирующими сенаторами на заднем плане. Никогда еще байдарки не хвалили до такой степени или до такой степени ловко.

– Она точно скрипка! – воскликнула в экстазе одна из молодых девушек.

– Благодарю вас за сравнение, мадемуазель, тем более, что многие находят, будто байдарка похожа на гроб, – сказал я.

– О, она действительно точно скрипка, она отделана, как

скрипка, – продолжала молодая девушка.

– И отполирована как скрипка, – прибавил сенатор.

– Стоит только натянуть на нее струны, и тогда тум-тум-ти-тум, – прибавил второй сенатор, с увлечением изображая результат натянутых струн.

Ну, не было ли это очаровательной маленькой овацией? И откуда французы берут свои милые выражения, право, не понимаю! Может быть, вся тайна их любезности заключается в искреннем желании нравиться и угождать? Во всяком случае манера говорить мило не считается во Франции позором, между тем как в Англии человек, говорящий как книга, должен бежать от общества.

Старичок в блузе проскользнул в сарай и довольно некстати объявил Сигаретке, что он отец пришедших с ним трех девушек и еще четырех, оставшихся дома, – настоящий подвиг для француза.

– Вы очень счастливы, – вежливо сказал Сигаретка.

И старик, очевидно, добившись своей цели, снова вернулся к нам.

Все мы разговаривали очень дружески. Девушки предложили нам отплыть вместе с ними завтра. Как вам это понравится? Шутя между собою, каждая из них желала узнать час нашего отплытия. Однако когда человеку предстоит влезать в байдарку, да еще с неудобного спуска, присутствие толпы, даже сочувствующей, для него нежелательно, поэтому мы, сказав всем, что отправимся не ранее полудня, решили от-

плыть самое позднее в десять часов утра.

Вечером мы опять вышли из дома, чтобы отправить несколько писем. Было свежо и хорошо, в деревне не было видно никого, кроме одного или двух мальчишек, бежавших за нами точно за зверинцем; в чистом воздухе на нас со всех сторон смотрели верхушки деревьев и горы; колокола призывали к новой службе.

Вдруг мы увидели трех девушек, стоявших вместе с четвертой сестрой перед лавкой. Конечно, мы много смеялись с ними некоторое время тому назад. Но каков был этикет в Ориньи? Встретив молодых девушек на проселочной дороге, мы, конечно, заговорили бы с ними, но здесь, на глазах у сплетников и сплетниц, могли ли мы даже поклониться им? Я спросил совета у Сигаретки.

– Взгляни, – сказал он.

Я посмотрел. Девушки все еще стояли на том же месте, только теперь к нам были обращены их спины; они отвернулись вполне сознательно. Скромность дала приказ, и прекрасно вымуштрованный пикет сделал поворот, как один человек. Они стояли к нам спиной все время, пока мы не исчезли из виду, но мы слышали, как девушки хихикали между собой, а незнакомая нам громко хохотала и даже взглянула через плечо на врага. Не знаю, было ли это скромностью или своего рода деревенским кокетством.

Когда мы возвращались в гостиницу, то заметили, что в широком поле золотого вечернего неба над меловыми хол-

мами и деревьями, покрывавшими их, что-то парило. Для воздушного змея летавший предмет был слишком велик и неподвижен, звездой же он быть не мог, так как был темен; ведь будь звезда черна как чернила и шероховата, как грецкий орех, солнце все же разливает по небу такое сияние, что она казалась бы для нас лучезарной точкой. Улицу наполнила толпа, все головы поднялись вверх. Дети суетились и бежали вдоль деревни и по дороге, поднимающейся на холм. Мы могли видеть, как они спешили вдаль отдельными группами. Черная точка оказалась воздушным шаром, который в этот день в половине шестого поднялся из Сен-Кантена. Большинство взрослых смотрело на шар совершенно равнодушно. Но мы, англичане, вскоре побежали за детьми. В качестве путешественников нам хотелось видеть, как опустятся наши собраты, плававшие в воздухе.

Но когда мы пришли на вершину холма, спектакль кончился. На небе золото потускнело, а шар исчез. Куда? Взяли ли его на седьмое небо? Или он счастливо опустился куда-нибудь в той синей неровной дали, в которой дорога исчезала и таяла? Вероятно, воздухоплаватели уже грелись под ле какого-нибудь фермерского камина, так как, говорят, в верхних слоях воздуха очень холодно. Ночь быстро наступала. Придорожные деревья и силуэты возвращавшихся с полей вырисовывались черными тенями на красном фоне заката. Над лесистой долиной висела полная луна цвета дыни, а за нами высились меловые белые утесы, чуть-чуть порозо-

вешие от отвеса огней сушен.

В Орины-Сент-Бенуат уже зажглись фонари, и обеденный стол был накрыт.

Глава XIII

Ориньи-Сент-Бенуат. За столом

Хотя мы пришли поздно к обеду, вся компания встретила нас со стаканами сверкающего вина в руках.

– Так водится во Франции, – сказал один из собеседников. – Сидящие с нами за столом наши друзья!

Остальные зааплодировали. Их было трое, и они составляли странное воскресное трио. Двое из них, приезжие, как и мы, явились с севера. Один, краснощекий и полный, с роскошными черными волосами и бородой, был отважным охотником, который не отказывался даже от самой мелкой добычи; жаворонка или воробья он не считал недостойными своего искусства. Когда этот большой, здоровый человек с волосами, роскошными, как у Самсона, с артериями, разносившими красную кровь по его телу, хвалился мелкими подвигами, он производил впечатление чего-то непропорционального, странного, как паровой молот, колящий орехи.

Второй был спокойный, сдержанный человек, белокурый, флегматичный и печальный, напоминавший датчанина. «Tristes tetes de danois», говаривал Гастон Лафенетр.

Я не могу пропустить это имя, не сказав нескольких слов о лучшем из всех славных малых, теперь превратившихся в прах. Мы никогда уже не увидим Гастона в его лесном ко-

стюме (все на свете звали его Гастоном в знак привязанности, а не из-за отсутствия уважения), не услышим мы также, как он будит эхо Фонтенбло звуком своего лесного рога. Никогда уже его добрая улыбка не внесет мира между разноплеменными художниками и не сделает англичанина своим человеком во Франции. Никогда овца с сердцем не более кротким, нежели бившееся в его груди, не послужит бессознательной моделью для его талантливой кисти. Он умер слишком рано, как раз в то время, когда его искусство начало давать свежие побеги и расцветать на произведениях, достойных его. А между тем никто не скажет, что он прожил бесплодно. Ни к одному из людей, которых я знал такое короткое время, я не чувствовал подобной искренней привязанности. Правильная оценка личности Гастона и понимание его души служат для меня мерилom достоинств людей, знавших его. Пока он жил, он оказывал на нас хорошее влияние. Гастон смеялся свежим смехом, и, глядя на него, у человека делалось тепло на сердце; как бы печален в глубине души ни был Гастон, он всегда казался мужественным и бодрым; к невзгодам жизни Лафенетр относился точно к весенним бурям. Но теперь его мать сидит одна на опушке леса Фонтенбло, в котором он собирал грибы в своей бедной юности.

Многие из его картин переправились через канал, кроме того, несколько были украдены, когда один мошенник-янки оставил его в Лондоне с двумя английскими пенсами в кармане и со знанием четырех английских слов. Если кто-ни-

будь из читающих эти строки имеет сценку из жизни овец, написанную в манере Жака, с подписью прекрасного человека – Лафенетра, пусть он скажет себе, что один из самых добрых и самых мужественных людей приложил руку к украшению его квартиры. В Национальной галерее могут быть лучшие картины, но ни один из живописцев нескольких поколений не обладал лучшим сердцем. Псалмы говорят нам, что в глазах Господа – смерть его святых драгоценна. Нужно, чтобы это было так, иначе слишком ужасно думать, что его мать осталась в отчаянии, и миротворец, миролюбец целого общества положен в землю. Теперь между дубами Фонтенбло чего-то недостает, и когда у Барбизона подают десерт, люди невольно ищут исчезнувшую знакомую фигуру.

Третий, из сидевших за столом в Ориньи, был муж хозяйки; не хозяин, потому что днем он сам работал на фабрике, а вечером возвращался в свой собственный дом как гость. Это был человек исхудалый от постоянных волнений, лысый, с острыми чертами лица и живыми, блестящими глазами. В субботу, описывая какое-то жалкое приключение, случившееся с ним во время утиной охоты, он разбил блюдо на множество кусков. Делая замечание, он осматривался кругом стола в ожидании одобрения, поводил бритым подбородком и сверкал глазами, в которых вспыхивали зеленые искры. Время от времени в дверях появлялась его жена, надзиравшая в соседней комнате за обедом, и замечала:

– Henri, ты забываешься. – Или: Henri, ты можешь гово-

речь не так громко.

Но этого-то никак и не мог сделать честный мальчик. От самой бездельницы его глаза разгорались, кулак приходил в соприкосновение со столом, и голос разливался, как раскаты изменчивого грома. Я никогда не встречал такой петарды в человеческом образе! Я думаю, он был одержим бесом. Муж хозяйки то и дело повторял: «это логично» или «не логично». Кроме того, перед многими длинными, звонкими рассказами, он как бы развертывал хоругвь, произнося: «Вы видите, я пролетарий!». Действительно, мы отлично видели это! Дай Бог, чтобы я никогда не встретил его на улицах Парижа с ружьем в руках! Для общества это будет несчастливая минута.

Мне казалось, что его любимые фразы очень хорошо выражали хорошие и дурные стороны его класса, а при некотором обобщении, и его страны. Великое дело сказать, кто ты, и не устыдиться. Это прекрасно даже в том случае, когда человек не очень хорошо воспитан и слишком часто твердит о своем положении. Конечно, впрочем, в герцоге такая черта мне не понравилась бы, но она почтенна в рабочем. С другой стороны, не всегда следует полагаться на логику, а на свою собственную в особенности, потому что обыкновенно она сильно вводит в заблуждение. Когда мы начинаем с того, что слепо следуем словам мудрецов, мы под конец совершенно теряемся. В сердце человека есть чувство, на которое можно полагаться больше, нежели на любой сил-

логизм; глаза же, симпатии, влечения убеждают нас в том или другом, никогда не опровергавшемся. Разумные основания изобильны, как ежевика, и, точно кулачные удары, могут направляться во все стороны. Не доводы, не доказательства поддерживают или разрушают доктрины, и всякое учение логично только постольку, поскольку оно ловко изложено. Способный человек не более доказывает справедливость своего тезиса, нежели способный генерал доказывает справедливость своего дела. Вся Франция стала волноваться из-за нескольких сильных слов, и пройдет еще много времени, пока она не увидит, что это были только слова, хотя и громкие. Когда же это обнаружится, может быть, французы найдут, что логика далеко не так забавна, как им казалось.

Разговор начался с охоты. Когда все спортсмены деревни охотятся на одной территории *pro indiviso*, ясно, что неизбежно должны вставать некоторые вопросы о первенстве и этикете.

– Ну, – вскрикнул хозяин, потрясая блюдом, – передо мной свекловичное поле! Прекрасно. Я иду вперед, не правда ли? *Eh bien sacristi!* – И его голос усилился, завибрировал, принимая интонацию ругательства; рабочий жаждал сочувствия, и каждый кивнул ему головой, желая умиротворить его.

Краснощекий северянин тоже рассказал несколько историй о подвигах, совершенных им ради водворения порядка; в особенности была замечательна одна история, где речь шла

о маркизе.

– Маркиз, – сказал я, – если вы сделаете хоть один шаг вперед, я выстрелю в вас. Вы поступили скверно, маркиз.

После этого, как оказалось, маркиз приподнял фуражку и ушел.

Хозяин шумно одобрил рассказчика.

– Вы хорошо поступили, – сказал он, – да и он также. Он сделал все, что мог. Он осознал свою неправоту.

И посыпалась божба! Хозяин-пролетарий не любил маркизов, но в нем было чувство справедливости.

От охоты разговор перешел к сравнению Парижа с провинциями. Хваля Париж, пролетарий колотил по столу рукой, точно по барабану.

– Что такое Париж? Париж сливки Франции. Парижан не существует. Вы, я, все мы парижане. В Париже каждый имеет восемьдесят процентов из ста выйти в люди. – И он набросал эскиз рабочего, который живет в конуре, не больше собачьей, и пишет статьи, предназначенные разойтись по всему свету. – *Eh bien quoi, c'est magnifique, ça!* – крикнул он.

Печальный северянин начал хвалить крестьянскую жизнь. Он считал Париж дурным местом для мужчин и женщин.

– Централизация... – начал он, но хозяин-пролетарий накинулся на него, кричал ему, что все в Париже логично и все великолепно. Какое зрелище! Какая картина! И тарелки прыгали по столу от канонады кулачных ударов.

Желая водворить мир, я вставил замечание о свободе мне-

ния во Франции и вряд ли мог сделать худший промах. Наступило мгновенное молчание, головы многозначительно качались. Конечно, все поняли замечание, оно было ясно, но мне дали понять, что печальный северянин страдал из-за убеждений. «Порасспросите-ка его», – говорили мне мои собеседники.

– Да, сэр, – по обыкновению спокойно отвечал он мне, хотя я не выговорил ни слова, – боюсь, что во Франции гораздо меньше свободы мнений, нежели вы предполагаете. – И с этими словами он опустил веки, считая тему исчерпанной.

Наше любопытство было сильно возбуждено. Как или почему, или когда страдал этот безжизненный человек? Мы сразу решили, что он терпел из-за религиозных вопросов, и невольно вспомнили об инквизиции, причем в нас ожили картины, главным образом, основанные на познаниях, извлеченных из ужасной истории Поэ и речи в «Тристане» Шенди, насколько я помню.

На следующий день нам представилась возможность углубиться в этот вопрос, потому что, когда мы поднялись (и очень рано, чтобы избежать сочувственной депутации при отплытии), мы встретили нашего северянина. Он завтракал белым вином и сырым луком, желая выдержать характер мученика, как решил я. Мы долго разговаривали с ним и, несмотря на его сдержанность, узнали все, что хотели знать. Но в этом случае произошло поистине любопытное недоразумение. Оказалось, что двое шотландцев могут разговари-

вать с французом в течение целого получаса, говоря о двух различных предметах. Только в самом конце беседы мы поняли, что ересь северянина была политического свойства, он тоже не подозревал нашей ошибки. Слова, в которых он говорил о своих политических верованиях, как нам казалось, соответствовали верованиям религиозным и наоборот.

Ничто не может лучше характеризовать две нации. Политика – религия Франции и, как сказал бы Нанти Юарт, чертовски плохая религия, – а мы в Англии ссоримся из-за незначительных особенностей в книге гимнов или из-за еврейского слова, которого ни та ни другая сторона не может перевести! А может быть, наше недоразумение прототип многих других, которые никогда не выяснятся? Такие недоразумения существуют не только между двумя различными народами, но и между различными полами!

Что касается страданий нашего друга, то они состояли в том, что из-за своих убеждений он потерял несколько мест и, кажется, потерпел неудачу в сватовстве. Впрочем, может быть, просто он выражался сентиментально о своих делах, и это обмануло меня. Во всяком случае бледный северянин был очень милый, кроткий человек, и я надеюсь, что он впоследствии получил хорошее место и славную жену.

Глава XIV

Вниз по Уазе – в Муа

Карнавал сильно обманул нас. Видя, что мы обходительны с ним, он пожалел, что так дешево сговорился с нами и, отозвав меня в сторону, рассказал мне длинную нелепую историю, вывод которой составляла необходимость дать рассказчику еще пять франков. История эта была очевидной выдумкой, но я беспрекословно заплатил Карнавалу и сейчас же перестал обходиться с ним приветливо, и с британской ледяной холодностью поставил его на подчиненное место. Он заметил, что зашел слишком далеко и зарезал золотую курицу. Его лицо поблекло.

Я убежден, что, найди Карнавал благовидный предлог, он вернул бы деньги. Он предложил мне выпить с ним, я отказался. Он нес байдарки и был трогательно нежен, но я молчал или отвечал ему короткими вежливыми фразами, когда же мы подошли к спуску, я заговорил с Сигареткой по-английски.

Несмотря на все наши фальшивые указания, на пристани собралось около пятидесяти человек. Мы были, как только умели, любезны со всеми, кроме Карнавала. Мы простились, пожав руку старика, знавшего реку, и молодого человека, лепетавшего по-английски. Карнавалу же не сказали ни слова.

Бедный Карнавал, в этом-то и крылось его унижение! Еще недавно он выказывал непосредственное отношение байдаркам, позволял их смотреть, давал от нашего имени приказа и даже показывал публике гребцов, а теперь был публично пристыжен львами своего каравана. Никогда в жизни не видывал я такого огорченного человека. Он держался сзади, выходя вперед каждый раз, когда ему казалось, что он замечал в нас признаки более мягкого настроения, и поспешно отступал, встречая холодный взгляд. Будем надеяться, что это послужит ему уроком.

Я не упомянул бы о проделке Карнавала, не будь это такой редкостью во Франции. Его поступок был единственным случаем нечестности или даже резко выраженной практичности за все наше путешествие.

В Англии мы очень много говорим о честности. Следует быть настороже, когда слышишь много разглагольствований по поводу незначительного проявления добродетели. Если бы англичане знали, как о них говорят за границей, они стали бы немного сдержаннее, чтобы поправить дело, да и тогда еще им следовало бы быть проще.

Молодые девушки, грации Ориньи, не присутствовали при нашем отплытии, но когда мы подходили ко второму мосту, мы увидели, что он был черен от толпы зрителей. Нас встретили громкими криками, и довольно долгое время мальчики и девочки тоже с криком бежали за нами. Благодаря течению и веслам, мы неслись, как ласточки. Нешуточное

дело было равняться с нами, спеша по деревянному берегу, но девушки поднимали юбки, точно были уверены, что у них хорошенькие щиколотки, и бежали, пока не выбились из сил. Последними отстали три грации и две их спутницы. Когда и они наконец устали, первая из граций вскочила на пень и послала гребцам воздушный поцелуй. Сама Диана не могла бы сделать грациознее это изящное движение (хотя в сущности, может быть, такое выражение чувств было свойственнее Венере). «Возвращайтесь!», – крикнула она, и подруги поддержали ее. Все холмы кругом Орины повторили: «Возвращайтесь!» Но река мгновенно отнесла нас, сделав поворот, и мы остались одни с зелеными деревьями и струящейся водой.

Вернуться! Юные девы, в бурном потоке жизни возврата нет.

Купец преклоняется перед звездой морехода,
Пахарь считает времена года по солнцу.

Нам же приходится ставить часы по циферблату судьбы. Страшные валы прилива поднимают человека с его фантазиями, как солому, и несут среди времени и пространства. Это течение извилисто, как ложе извивающейся реки Уазы, оно также замедляется, возвращается к милым лугам, но, в сущности, все идет и идет вперед. И хоть река посещает снова знакомый акр луга, но все же делает большой изгиб, в течение этого времени многие маленькие ручейки вливаются

в нее, многие клубы испарений от нее поднимаются к небу, и если бы она вернулась совершенно к тому же самому месту, это была бы не та же река. Таким образом, о, грации Ориньи, если бы судьба и привела меня опять туда же, где вы ожидаете призыва смерти на берегу реки, я уже не буду тем, кем был. А жены и матери, в которых вы превратитесь, скажите, будут ли вами?

Уаза в своем верхнем течении по-прежнему необычайно спешила к морю. Она бежала так быстро и весело по всем излучинам, что я натрудил большой палец, борясь с быстринами, и мне пришлось весь остаток пути грести одной рукой. Иногда Уаза служила двигателем мельниц и, так как она еще была маленькой рекой, бывала после этого очень мелкою и прихотливою. После плотин мы, опуская ноги в воду, доставали до песка. И все же река бежала и пела между тополями и создавала красивую зеленую долину. После хорошей женщины, хорошей книги и табака, ничто на свете не сравнится с рекой. Я простил ей ее покушение на мою жизнь, которое, в сущности, было частью следствием беспорядочных ветров небесных, сваливших дерево, частью моей собственной неосмотрительностью и только частью умыслом самой реки. Она чуть не погубила меня не из злобы, а вследствие желания поскорее достигнуть моря. Добежать до моря ей было действительно трудно, так как нельзя и счесть всех поворотов Уазы. Кажется, географы бросили эту попытку, потому что я никогда не видывал карты, которая изобража-

ла бы бесконечную извилистость ее течения. Один факт скажет больше, чем все географы. После того как мы в течение нескольких часов, помнится трех, плыли между деревьями, несясь мягким головоломным карьером, и наконец подошли к деревне и спросили, где мы, то оказалось, что мы всего в четырех километрах (что составляет две мили с половиной) от Ориньи. Если бы не вопрос чести гребцов, выражаясь пошотландски, мы могли бы почти с таким же успехом не двигаться с места.

Мы закусили на лугу среди параллелограмма из тополей. Кругом нас трепетали и шелестели листья. Река бежала и спешила и точно сердилась на нашу остановку. Но мы были невозмутимы. Река знала, куда она шла, мы же – нет.

Поэтому где мы находили приятное место отдыха и хорошую арену для курения трубки, там и останавливались. В этот час маклеры выкрикивали на парижской бирже. Но мы так же мало думали о них, как и о катившемся потоке, и посвящали целые гекатомбы минут богам табака и пищеварения. Торопливость – прибежище человека, не уверенного в будущем. Если он может доверять своему собственному сердцу и сердцам своих друзей, завтра для него так же хорошо, как сегодня. А если он и умрет до завтра, что же, умрет и тем разрешит вопрос.

Нам предстояло в течение дня достигнуть канала; там, где он пересекал реку, не было моста, а оказался сифон. Если бы на берегу не стоял очень взволнованный малый, мы, конеч-

но, прямо погребли бы в сифон, и не гребли бы больше уже никогда в жизни. Мы встретили на бечевой дороге господина, который очень заинтересовался нашим путешествием.

При этом я был свидетелем, до чего иногда лжет Сигаретка; он только из-за того, что его нож сделан в Норвегии, принялся рассказывать о всевозможных приключениях, встретивших его в окрестностях города, в котором он никогда не бывал. В конце мой друг болтал с лихорадочным оживлением, говорившим в пользу предположения, будто иногда человеком овладевают бесы.

Муа – приветливая деревня, окружающая замок, окопанный рвом. В воздухе стоял запах конопли, доносившийся с соседних полей. В гостинице «Золотая овца» мы нашли хорошее помещение. Немецкие гранаты, оставшиеся после осады Ла-Фера, золотые рыбки в круглой вазе, нюрнбергские статуэтки и всевозможные безделушки украшали общую комнату. Хозяйка гостиницы была полная, некрасивая, близорукая женщина, почти гениальная кухарка. Она сама знала о своих достоинствах и, отпустив блюдо, выходила и смотрела на обедающих широко открытыми, мигающими глазами.

– C'est bon, n'est ce pas? – говорила она и, получив утвердительный ответ, опять исчезала на кухне.

В «Золотой овце» старое французское кушанье, куропатки с капустой, сделалось для меня совершенно новой вещью, и многие из последующих обедов вследствие этого разоча-

ровали меня. Сладко отдыхали мы в «Золотой овце» в Муа.

Глава XV

Ла-Фер, недоброй памяти

Мы пробыли в Муа большую часть дня, так как относились к делу философски и в принципе не признавали долгих путешествий и ранних отплытий. Вдобавок, сама деревня манила к отдыху. Из замка вышли господа в изящных охотничьих костюмах, с красивыми ружьями и мешками для дичи. Нам было приятно оставаться на месте, в то время как эти элегантные искатели наслаждений уходили из дома рано утром. Каждый может быть аристократом и разыграть роль герцога между маркизами и царящего монарха между герцогами, если только он превзойдет их в спокойствии. Невозможность вытекает из терпения. Спокойные умы не могут приходиться в смущение или пугаться, они движутся своим обычным шагом среди счастья или невзгод, как часы во время грозы.

Мы вскоре достигли Ла-Фера, но спустилась мгла, начался маленький дождь, раньше чем мы пристроили лодки.

Ла-Фер – укрепленный город, стоящий в долине и опоясанный двумя линиями бастионов. Между первым и вторым поясом укреплений лежит довольно широкая полоса земли и небольшие возделанные поля. Там и сям вдоль дороги стояли часовые, не позволявшие сходить с шоссе из-за воен-

ных упражнений. Наконец, мы через вторые ворота вошли в город. Освещенные окна казались приветливыми, из домов вырывались клубы вкусного запаха кушаний. Город был переполнен запасными солдатами, собравшимися для осенних маневров; резервисты быстро проходили мимо в своих плащах. В такой вечер было приятно сидеть дома за обедом и слушать стук дождя по стеклам.

Сигаретка и я не могли нарадоваться в предвкушении нам удовольствия, так как нам сказали, что в Ла-Фере замечательная гостиница. Какой обед мы съедим, в какие кровати ляжем спать? А дождь будет мочить всех людей, оставшихся без крова на этом населенном берегу! При мысли о блаженстве у нас слюнки текли. Знаменитая гостиница носила название какого-то лесного животного: оленя, лани или олененка, не помню. Но я никогда не забуду, какой большой приветливой казалась она нам, когда мы подошли ближе. Въезд в гостиницу был ярко освещен, не умышленно, а благодаря изобилию ламп и свечей в доме. До нас донеслось бряканье посуды; мы увидели целое поле скатерти; кухня сияла, как кузница, и благоухала, как сад, засаженный съестными вещами. И вот в эту-то внутреннюю сокровищницу гостиницы, в самое ее физиологическое сердце, пылавшее очагами, заставленное различного рода мясом, торжественно вошли мы, пара измокших людей, с болтающимися резиновыми мешками на руках. Представьте себе всю картину!

Я не успел хорошо разглядеть кухню, я видел ее в ка-

ком-то сиянии, но мне показалось, что она была переполнена белыми колпаками; повара повернулись от своих котелков и с удивлением устремили на нас глаза. Сомневаться, где была хозяйка, мы не могли, эта краснолицая, сердитая, озабоченная женщина стояла во главе своей армии. Я ее спросил вежливо (слишком вежливо, полагает Сигаретка), можем ли мы иметь у нее комнату. Она холодно осмотрела нас с головы до ног и сказала:

– Вы найдете в предместье отличные комнаты, у нас же слишком много дел, и мы не можем заниматься такими людьми, как вы.

А я был уверен, что если нам удастся войти в гостиницу и потребовать бутылку вина, все устроится, а потому сказал:

– Но если мы не можем здесь переночевать, то могли бы, по крайней мере, пообедать, – и сделал движение, чтобы положить мешок.

Какое страшное содрогание произошло в лице хозяйки. Она подбежала к нам и топнула ногой.

– Прочь, уходите за дверь! – кричала она. – *Sortez, sortez, sortez par la porte!*

Не знаю, как это случилось, но через минуту мы уже очутились в темноте под дождем, и я, стоя перед воротами, бранился, как разочарованный нищий. Куда девались бельгийские спортсмены? Куда девался судья и его прекрасные вина, куда девались грации Ориньи? Нас окружала черная, черная ночь, представлявшаяся еще мрачнее после освещенной кух-

ни, но могла ли она сравниться с мраком, наполнявшим наши сердца? Не в первый раз меня не впускали в дом. Очень часто строил я предположение о том, что я стану делать, если со мной случится такое несчастье опять. Составлять планы – дело легкое. Но легко ли с сердцем, горящим негодованием, приводить их в исполнение? Попробуйте, попробуйте хоть раз и скажите, как обошлось дело. Хорошо говорить о бродягах и морали. Шесть часов полицейского наблюдения, которому недавно подвергся я, и один грубый отказ хозяйки гостиницы больше меняют взгляды человека на этот предмет, нежели долгое чтение. Пока вы в верхних слоях общества и все кланяются вам при встрече, общественный строй кажется вам прекрасным, но если вы попадаете под колеса, то от души посылаете все общество к дьяволу. Я заставлю самых почтенных людей две недели пожить такой жизнью и затем предложу им два пенса за остатки их морали.

Что касается меня, то после изгнания из «Оленя», «Лани», или чего там еще, я поджег бы храм Дианы, будь он под рукой. Я не находил ни одного достаточно сильного выражения, которое выразило бы мое недовольство человеческими учреждениями. Относительно же Сигаретки я должен сказать, что я никогда не видывал человека, изменившегося до такой степени, как изменился он.

– Нас опять приняли за разносчиков, – сказал он. – Боже мой, каково же быть в действительности разносчиком!

Он предавал проклятию каждый сустав хозяйки. Рядом с

ним шекспировский Тимон был филантропом. И вдруг, когда Сигаретка достиг высшей степени горячности, он преврал свою речь и начал жалобно говорить о бедняках: «Прошу Господа, – сказал он (и я думаю, эта молитва была услышана), – чтобы Он не дал мне быть невежливым относительно разносчика».

Неужели это был невозмутимый Сигаретка? Да, да, это был он. Какая невыразимая, невысказанная, невероятная перемена!

Между тем небо роняло слезы на наши головы, и по мере того как темнело, окна домов становились все ярче и светлее. Мы бродили взад и вперед по улицам, мы видели лавки и частные квартиры, в которых сидели сытно обедавшие люди; мы видели конюшни, в которых лошади стояли на чистой соломе, перед полными кормушками; мы видели бесконечное количество призванных к оружию запасных солдат, без сомнения, очень тосковавших в эту мокрую ночь и мечтавших о своих деревенских домах... Но у каждого из них было место в ла-ферских бараках. А мы? Что было у нас?

Казалось, в целом городе не имелось ни одной другой гостиницы. Нам давали указания, мы добросовестно следовали им, но большей частью только возвращались к месту нашего позора. К тому времени, как мы обошли весь город, мы превратились в очень жалких людей, и Сигаретка уже решил лечь спать под топодем, а поужинать ломтем хлеба. Но подле городских ворот стоял дом, полный света и оживления.

«Bazin aubergiste loge à pied», гласила надпись на нем. «A la croix de Malte». Нас приняли.

Комната была полна шумными солдатами, которые пили и курили, и мы порадовались, когда на улице раздался звук барабанов и дудок и всем солдатам пришлось надеть кепи и отправиться в бараки.

Базен, человек высокого роста и склонный к полноте, говорил мягко, а его лицо было нежно и кротко. Мы предложили ему выпить с нами, но он отказался, говоря, что ему пришлось целый день угощать резервистов. Он представлял собой совершенно другой тип, нежели рабочий, содержатель гостиницы в Ориньи, который вел такие горячие споры.

Базен также любил Париж и работал в нем в юности в качестве декоративного живописца. Он сказал, что там человеку представляется множество случаев для самообразования. Если кто-нибудь читал, как Золя описал общество, отправившееся после свадьбы рабочего осматривать Лувр, ему хорошо было бы послушать как противоядие рассуждение Базена. В молодости он наслаждался в музеях.

– Там видишь маленькие чудеса, – сказал он, – а это создает хорошего рабочего, роняет в него искру.

Мы спросили Базена, как ему живется в Ла-Фере.

– Я женат, – сказал он, – и у меня славные дети. Но, откровенно говоря, это не жизнь. С утра до ночи я угощаю довольно добрых малых, круглых невежд.

С наступлением ночи погода разгулялась, и луна вышла

из-за облаков. Мы сидели у двери и потихоньку толковали с Базеном. Из здания гауптвахты то и дело показывался часовой, так как мимо нас ежеминутно проезжала полевая артиллерия или проносились патрули кавалеристов в своих плащах. Через некоторое время вышла и госпожа Базен; она, кажется, устала от дневной работы, угнездилась подле мужа и положила голову к нему на грудь. Он обнял ее и нежно поглаживал по плечу.

Я думаю, Базен не обманул нас и был женат в полном значении этого слова. Не о многих можно сказать то же самое.

Базены не знали, что они дали нам. Нам поставили в счет свечи, пищу, вино и постели, но в счет не включался приятный разговор с хозяином и теплый вечер с милой супружеской парой. Мы также не заплатили еще за одно: вежливость этих людей вернула нам самоуважение. Мы жаждали хорошего отношения, ощущение обиды все еще жгло нас, а вежливость Базенов, казалось, возвращала нам наше положение в обществе.

Как мало платим мы за то, что получаем от жизни! Хотя нам приходится вечно открывать кошелек, но главная часть оказанных нам услуг все же остается не вознагражденной. Впрочем, я надеюсь, что благодарная душа платит той же монетой, которую получает. Может быть, Базены почувствовали, как они понравились мне? Может быть, и я благодарностью, сказывающейся в моем обращении, облегчил их от каких-нибудь житейских тягот.

Глава XVI

Вниз по Уазе – через Золотую долину

Ниже Ла-Фера река бежит мимо открытых пастбищ, по-зеленой, богатой, любимой скотоводами долине, которую называют Золотой. Река, этот бесконечный поток, быстро несется, орошает долину и делает поля зелеными. Коровы, лошади и смешные маленькие ослики вместе пасутся на лугах и толпами подходят к реке для водопоя. Они кажутся странными, особенно когда испугаются, и вы видите, как они носятся все вместе, такие непохожие один на другого. В эти минуты в голове невольно является представление о диких пампасах и об ордах бродячих народов. Вдали по обеим сторонам тянулись горы, иногда река подходила к лесистым вершинам Куси и Сен-Гобена.

В Ла-Фере происходило артиллерийское учение, и вскоре к шумной канонаде присоединились выстрелы небесных пушек. Сошлись два континента облаков и обменялись над нашими головами салютом. Между тем везде на горизонте виднелся солнечный свет, и холмы окутывал чистый прозрачный воздух. Пушечные выстрелы и гром напугали стада в Золотой долине. Мы видели, как животные мотали головами и в страхе нерешительно бросались из стороны в сторону.

Когда же они немного успокоились и осел пошел за лошадей, а корова за ослом, мы услышали их голоса, оглашавшие луга. В них было что-то воинственное, напоминавшее кавалерийские сигналы. Все вместе, насколько дело касалось слуха, составляло поразительную и захватывающую батальную пьесу, которая давалась для нашего удовольствия.

Наконец, выстрелы и раскаты грома затихли, солнечный свет упал на мокрые поля. В воздухе поднялось благоухание обрадованной травы и деревьев. Между тем река неумоимо быстро несла нас вперед. Подле Шони лежал мануфактурный округ. Далее берега стали так высоки, что закрыли от нас все окрестности, и мы видели только глиняные обрывы да ряды ив. Время от времени мы миновали деревни или перевозы, где удивленные дети провожали нас взглядом, пока мы не скрылись за поворотом. Вероятно, в течение многих ночей после того мы гребли в воображении этих ребяташек.

Солнечный свет и непогода сменялись как день и ночь, удлиняя своим разнообразием часы. Когда шел сильный дождь, я чувствовал, как каждая капля проникала через мою фуфайку и касалась разгоряченной кожи; повторение множества легких ударов почти выводило меня из себя. Я решил купить в Нуайоне макинтош. Вымокнуть не беда, но до того противно чувствовать отдельные холодные струйки, в громадном количестве текущие по телу, что я как безумный рассекал воду веслом. Сигаретка забавлялся при виде взрывов моего недовольства. Благодаря моей вспыльчивости, он

мог наконец отвести взгляд от надоевших глиняных берегов и ив.

В прямых местах река кралась как вор, в излучинах же неслась, образуя бурные водовороты. Ивы целый день покачивались, целый день их корни подмывала вода, глиняный берег осыпался. Уаза, которая несколько столетий подряд создавала Золотую долину, казалось, переменила намерение и теперь хотела разрушить свое творение. Чего-чего ни делает река, невинно следуя закону тяготения!

Глава XVII

Нуайонский собор

Нуайон стоит приблизительно на расстоянии мили от реки, в маленькой долине, окруженной лесистыми холмами; его черепичные крыши, над которыми высится продолговатый прямолинейный собор с двумя башнями, целиком занимают маленькую возвышенность. Когда мы вошли в город, нам показалось, что черепичные крыши громоздятся одна на другую вдоль холма в самом странном беспорядке. Однако, несмотря на все их старания, они не доходили и до середины собора, который, прямой и торжественный, высился над городом. По мере того как улицы подходили ближе к этому первенствующему гению, проводя нас через рынок под ратушей, они становились все пустынее и спокойнее. Глухие стены и закрытые ставнями окна были обращены к большому зданию, трава росла на белой дороге. «Сними обувь с твоих ног, ибо земля, на которой ты стоишь, земля святая». Тем не менее, Hôtel du Nord зажигает свои мирские свечи в нескольких саженьях от церкви. Из окон нашей спальни мы могли все утро любоваться великолепной восточной частью храма. Я очень редко с такой симпатией смотрел на восточную часть церкви. Она опирается на три большие террасы и походит на широкую фигуру какого-то старого военного ко-

рабля. Опоры поддерживают вазы, которые служат его кормовыми фонарями. В этом месте в почве есть выпуклость, и башни еле поднимаются над крышей собора, так что чудится, будто добрый корабль лениво покачивается под порывом атлантического ветра. Сейчас он взлетит на волну и унесется вдаль. Вот-вот откроется окно, и старый адмирал в шляпе с кокардой высунет из него голову, чтобы осмотреться. Старые адмиралы больше не плавают по морям, старые боевые корабли уничтожены и живут только на картинах. Это же здание стало церковью раньше, чем о фрегатах подумали впервые, и, до сих пор продолжая быть церковью, по-прежнему гордо красуется на берегу Уазы. Собор и река, вероятно, две самые старые вещи на пространстве во много и много миль, конечно, и река, и церковь очень стары.

Ключарь вывел нас на верх одной из башен и показал пять колоколов, висевших под ее крышей. Сверху город казался мостовой из крыш и садов, мы без труда разглядели бывшую линию укреплений. Ключарь указал нам вдалеке на кусочке яркого неба между двумя облаками башни замка Куси.

Мне положительно не могут надоест большие церкви. Никогда не вдохновлялись люди более счастливой идеей, нежели создавая соборы. Собор с первого взгляда нечто такое же красивое и обособленное, как статуя, а между тем, по рассмотрении, он оказывается не менее живым и интересным, нежели лес. Высота колонн не может определяться тригонометрией, благодаря которой мы нашли бы их страш-

но низкими. Но как высоки они для восхищенного глаза! Там, где перед нами столько изящных пропорций, вытекающих одна из другой, нам все вместе кажется чем-то особенно внушительным. Я не в силах себе представить, как может человек проповедовать в соборе. Что может сказать он, что может быть сильнее, нежели вид церкви? Я слышал довольно много различных проповедей, но никогда не слыхивал ничего, что было бы так выразительно, как собор. Он сам по себе наилучший проповедник и проповедует день и ночь, не только говоря об искусстве и стремлениях человека в прошлом, но и вливая в вашу душу горячие симпатии. Лучше сказать, он, как все хорошие проповедники, заставляет вас самих читать проповеди себе, так как каждый человек – свой собственный доктор богословия.

Когда я сидел подле отеля вечером, нежный рокошующий гром органа вылетел из церкви как порыв мольбы. Внешне он мне так понравился, что я пожелал посмотреть и на то, что делалось внутри. Однако я никак не мог хорошенько понять смысл службы, которую видел.

Я вошел в церковь, четверо или пятеро священников и столько же хористов пели «Miserere» перед алтарем. В церкви было только несколько старух, сидевших на скамейках, и стариков, коленапреклоненных на плитах пола.

Вскоре из-за алтаря появилась вереница молодых девушек, шедших попарно со свечами в руках и одетых в чер-

ные платья с белыми покрывалами, они направились в самую церковь. Четыре первые несли изображение Девы и Младенца. Священники и певцы поднялись и с пением «Ave Maria» последовали за ними. Процессия обошла весь собор и дважды миновала колонну, у которой стоял я. Священник, казавшийся важнее других, был дряхлым стариком, бормотавшим молитвы губами; но когда он в потемках взглянул на меня, мне почудилось, что не молитвы переполняли его сердце. За ним шли два священника лет сорока, походившие на солдат со смелыми глазами, они громко пели и выкрикивали «Ave Maria». Девушки казались робкими и серьезными. Проходя медленно, каждая из них взглянула на англичанина, а глаза толстой монахини, предводительствовавшей ими, прямо-таки привели меня в смущение. Что касается хористов, все они, от первого до последнего, вели себя так дурно, как только могут вести себя одни мальчишки, и жестоко портили ход службы своим скоморошеством.

Я понимал часть происходившего. Действительно, трудно было бы не понять «Miserere», песню, составляющую, по моему мнению, произведение атеиста. Впрочем, если следует вливать в сердце человека отчаяние, «Miserere» – отличная музыка, а собор – соответствующая арена для этого. В этом смысле я согласен с католиками (странное название для них!). Но зачем, Боже мой, эти хористы? Зачем эти священники, бросающие украдкой взгляды на прихожан, притворяясь, что они молятся? Зачем эта толстая монахиня, кото-

рая грубо устраивает процессию и подталкивает локтем провинившихся дев? Зачем во время службы плюются, нюхают табак, забывают ключи? Зачем происходит множество маленьких несчастий, которые нарушают настроение ума, заботливо созданное пением и звуками органа? В каждом театре преподобные отцы видят, что создается с помощью искусства, как можно вызвать высокие чувства, уничтожая все не входящее в программу и ставя каждый стул на свое место.

Еще одно обстоятельство огорчало меня. Я сам мог вынести «Miserere», так как недавно пользовался движением на открытом воздухе, но я желал, чтобы все эти старики очутились где-нибудь в другом месте. Для женщин и мужчин, которые уже испытали многое в жизни, и, вероятно, уже составили собственное мнение о трагическом элементе существования, «Miserere» неподходящая музыка. Престарелый человек может сам спеть свой собственный «Miserere», хотя я замечал, что старики нередко предпочитают петь «Jubilate Deo». В общем, я считаю лучшим религиозным упражнением для престарелых людей воспоминание о собственной жизни, о многих умерших друзьях, о многих погибших надеждах, о многих заблуждениях, колебаниях и, несмотря на все, о стольких светлых днях. Конечно, в этом заключается очень красноречивая проповедь.

В общем, я вышел из собора в торжественном настроении. В маленькой образной карте нашего путешествия внутрь страны, которая еще хранится в моей памяти и иногда раз-

вертывается в минуты грусти, Нуайонский собор фигурирует на первом месте и оказывается большим, как целая область. Я так вижу лица священников, точно они еще стоят рядом со мной, и «Ave Maria, ora pro nobis» точно еще звучит в церкви. Эти преобладающие воспоминания заслоняют для меня весь Нуайон, и я ничего более не скажу об этом городке. Он представляется мне грудой коричневых крыш, под которыми, вероятно, люди живут тихо и честно; когда солнце опускается, тень от собора падает на них, и пять колоколов слышатся во всех кварталах; они говорят, что орган начал звучать. Если я когда-нибудь перейду в лоно римской церкви, я попрошу, чтобы меня сделали епископом Нуайона на Уазе.

Глава XVIII

Вниз по Уазе – в Компьен

Даже самым терпеливым людям в конце концов надоедает вечно мокнуть под дождем; конечно, только не в шотландской горной стране, где не бывает достаточно хороших светлых промежутков, которые могли бы подчеркивать разницу между светлыми днями и ненастьем.

Казалось, в тот день, когда мы покинули Нуайон, нас ожидала беспросветная непогода. Я ничего не помню из путешествия, кроме глиняных берегов, ив и дождя, непрерывного, безжалостного, бичующего дождя.

Наконец, мы остановились закусить в маленькой гостинице в Пемпре, где канал очень близко подходил к реке; мы так страшно вымокли, что хозяйка ради нас зажгла несколько поленьев в камине, и мы сидели в облаке пара и грустили о своей судьбе. Муж хозяйки надел сумку для дичи и ушел на охоту, жена сидела в дальнем уголке и смотрела на нас. Полагаю, мы были достойны внимания. Мы ворчали, вспоминая о несчастье в Ла-Фере.

Мы предвидели такие же беды в будущем, хотя с тех пор как Сигаретка стал вести переговоры, дело пошло лучше. У него оказалось больше апломба, чем у меня; он подходил с мрачным, положительным видом к хозяйкам, которые молча

уносили резиновые мешки. Заговорив о Ла-Фере, мы заговорили и о запасных солдатах, вторично призванных на службу.

– Это, – сказал Сигаретка, – довольно дурной способ проводить осенние праздники.

– Такой же дурной, – с унынием сказал я, – как плавание на байдарках.

– Вы изволите путешествовать для удовольствия? – с бессознательной иронией спросила хозяйка гостиницы.

Это было уж слишком. С наших глаз упала пелена. Мы сказали себе, что если завтра будет опять ненастный день, мы поставим лодки в поезд.

Погода услышала предостережение. Мы больше не мокли. День разгулялся; по небу все еще бродили большие облака, но теперь отдельные и окруженные синей глубиной; яркий розовый и золотой закат предсказывал звездную ночь и ясную луну. В то же время и река начала давать нам лучшую возможность видеть окрестности. Берега понизились, ивы исчезли с их краев; теперь красивые холмы тянулись вдоль потока и вырисовывались на небе.

Вскоре канал излил из последних шлюзов в Уазу запасы своих водоемов. Нам нечего было бояться недостатка общества. Мы увидели всех наших старых друзей. «Deo gratias» из Конде и «Четыре сына» весело плыли с нами по реке; мы обменивались шутками с рулевым, сидевшим среди пакетов, или с погонщиком лошадей; дети подбегали к бортам барок и

смотрели на нас. Мы не знали, до чего нам недоставало всех этих спутников, но при виде дыма из их трубы мы вздрогнули.

Немного ниже того места Уазы, где произошло наше соединение с барками, нас ожидала новая, более знаменательная встреча; там к нам присоединилась река Эн, уже судоходная и прибежавшая из Шампаньи. Отрочество Уазы окончилось; это был ее брачный день. Теперь полноводный поток, сдержанный различными дамбами, двигался плавно, сознавая свое собственное достоинство. Деревья и города смотрели в него, как в зеркало; он спокойно нес байдарки на своей широкой груди.

Нам не приходилось усиленно бороться с водоворотами; мы стали ленивы и только погружали весло то с одной, то с другой стороны лодочки; нам не приходилось более соображать или делать усилия. Поистине во всех отношениях для нас наступило райское время; мы плыли к морю, как настоящие господа.

Мы увидели Компьен на закате; над рекой вырисовывался красивый город. Близ пристани под звуки барабана учился полк солдат. На набережной было много народа; одни ловили рыбу, другие празднично смотрели на реку.

И когда две байдарки показались на воде, публика стала указывать на них и переговариваться. Мы пристали к прачечному плоту, на котором прачки, несмотря на вечер, все еще колотили белье.

Глава XIX

В Компьене

Мы поместились в большом шумном отеле, в котором никто не обратил на нас внимания.

В городе царили запасные войска и вообще милитаризм (как выражаются немцы). Лагерь из конических белых палаток, расположенный вне Компьена, напоминал листок из иллюстрированной Библии. Пояса с тесаками украшали стены кафе, на улицах целый день звучала военная музыка. Англичанин не мог в эти минуты не гордиться своей родиной, потому что люди, следовавшие за барабаном, были все малы ростом и шли нестройно. Каждый из них наклонялся под тем углом, как ему нравилось, и качался, как ему вздумается. В их рядах не замечалось той превосходной выправки, с которой торжественно и непреодолимо двигается полк высоких шотландцев за своей музыкой, походя на явление природы. Кто видевший раз наши полки, может забыть тамбур-мажора, тигровые шкуры барабанщиков, трубачей в свитых пледах, эластичный ритм целого полка, идущего в ногу, удары барабана и пронзительные звуки дудок, играющих воинственный марш, когда замолкают медные трубы?

Девушка-англичанка, учившаяся во французской школе, однажды начала описывать своим подругам-француженкам

один из наших полков, и (как она сказала мне) воспоминание сделалось в ней необычайно живо, она почувствовала гордость при мысли, что она соотечественница этих солдат, и горесть о разлуке со своей страной; ее голос прервался, и она залилась слезами. Я не мог забыть этой девушки и думаю, что она почти достойна монумента. Назвать ее молодой леди, со всеми связанными с этим названием последствиями, было бы для нее оскорблением. Пусть она помнит одно: может быть, ей не суждено сделаться женой героя-генерала или увидеть великий немедленный результат своей жизни, но она проживет не напрасно для своей родной страны.

Хотя французские солдаты и показываются во время парада с невыгодной стороны, но в походе они веселы, проворны и воодушевлены, как толпа охотников на лисиц. Я помню, как однажды видел отряд, проходивший через лес Фонтенбло по дороге в Шальи, между Bas Bréau и Reine Blanche. Один малый шел впереди других и пел громкую мужественную походную песнь. Все остальные шагали в такт и даже в такт вскидывали ружья. Молодой офицер на лошади с трудом сдерживал свое волнение. Школьники не охотнее играют в зайца и собак. Вам показалось бы, что такие увлеченные ходьбой люди неутомимы.

В Компьене я больше всего наслаждался городским рынком. Я просто бредил рынком. Он памятник готического причудливого вкуса, весь в башенках, колонках, в желобках и всевозможных архитектурных фантазиях. Некоторые из

ниш позолочены и украшены живописью. На большом четырехугольном панно, на позолоченном фоне, выдаваясь черным рельефом, едет Людовик XII на идущей шагом лошади; он опирается рукой в бок и закидывает голову. В каждой его черте – царственная надменность; нога в стремени презрительно выставляется из-за рамы, взгляд тверд и горд; самая лошадь короля, по-видимому, с наслаждением идет над распростертыми рабами, и ее ноздри надуваются точно для того, чтобы издать трубный звук. Таким-то образом на фронто-не городского рынка вечно едет добрый король Людовик XII, отец своего народа.

Над головой короля в высокой центральной башенке виднеется циферблат часов, а высоко над ним три механические фигурки, каждая с молотком в руках; они отбивают часы, половины и четверти. У центральной фигурки позолоченный нагрудник, у двух других позолоченные панталоны, у всех трех изящные шляпы с перьями, как у рыцарей. Когда подходит четверть, человечки поворачивают головы и многозначительно переглядываются, потом три молотка падают на маленькие колокольчики внизу. Часовой бой раздается звучно и густо из внутренней башни; позолоченные джентльмены с удовольствием отдыхают от трудов.

Я с громадным удовольствием смотрел на движения рыцарей и старался не пропускать их манипуляций. Хотя Сигаретка и выказывал презрение к моему энтузиазму, но я видел, что он сам увлекался до известной степени позоло-

ченными человечками. Нелепо выставлять такие игрушки на крышах, подвергая их зимней непогоде. Они лучше сохранились бы в стеклянном ящике перед нюрнбергскими часами. Не дерзко ли ночью, когда дети в постелях и даже взрослые храпят под стегаными одеялами, оставлять эти фигурки, позволяя им звонить для звезд и плавающей луны. Башенки еще могут поднимать свои змеиные головы, может и властительница их стоять, как центурион старой немецкой картинки, изображающей *Via Dolorosa*, но игрушки следует прятать в ящики с ватой до восхода солнца, когда дети снова выйдут на улицу.

На почте нас ждало много писем, и на этот раз власти были так вежливы, что передали их нам сейчас же по простой просьбе.

В некотором смысле можно сказать, что наше путешествие окончилось с этим пакетом писем. Чары разрушились. Мы отчасти вернулись домой. Во время путешествия не следует вести переписки, уж и писать-то неприятно, а получение писем – смерть радостного чувства.

Я ухожу от моей страны и от себя. Я желаю на некоторое время погрузиться в новые условия жизни, как в новую стихию. На некоторое время я отказываюсь от моих друзей и привязанностей. Уезжая, я оставляю сердце дома в ящике стола или отправляю его вперед с моим багажом, желая, чтобы оно ждало меня в назначенном месте. Когда я окончу путешествие, то не премину прочесть ваши прелестные

письма с надлежащим вниманием. Но, видите ли, я истра- тил столько денег и столько раз ударил веслом по воде един- ственно ради желания быть в чужой стране; вы же вашими известиями переносите меня домой. Вы натягиваете шнур- рок, и я чувствую, что я птица на привязи. Вы во всей Европе преследуете меня мелкими неприятностями, а я и уехал-то, чтобы их избежать. Война жизни, я знаю, не прекращается, но неужели я не могу получить хотя бы недельного отпуска?

В день нашего отплытия мы встали в шесть часов. На нас в отеле обращали так мало внимания, что я думал, что вряд ли нам соблаговолят представить счет. Но счет подали и да- же очень вежливо, и мы самым цивилизованным образом заплатили все бескорыстному клерку и ушли из гостиницы. Никто не обратил внимания на наши резиновые мешки. Ни- кому не было дела до нас. Невозможно встать раньше дерев- ни, но Компьен такой большой город, что он не любит бес- покоиться утром, и мы уже отплыли, когда он все еще был в халате и туфлях. На улицах виднелись только люди, мывшие ступени подъездов. Никто еще не был одет, кроме рыцарей на городском рынке; все они омылись росой, щеголяли в сво- ей позолоте, казались полны разума и чувства профессио- нальной ответственности. Когда мы проходили мимо них, их молотки пробили половину седьмого. Я нашел, что они по- ступили мило, проводив меня этим приветствием; еще нико- гда не звонили позолоченные человечки лучше, даже в вос- кресный полдень.

Никто не смотрел, как мы отплывали, кроме ранних прачек (ранних и поздних), которые уже колотили белье в своей плавучей прачечной на реке. Они были очень веселы и свежи, храбро погружали руки в воду и, по-видимому, не чувствовали холода. Такое неприятное раннее начало неприятного дневного труда привело бы меня в ужас. Но мне кажется, что прачки так же неохотно стали бы на наше место, как мы на их. Они столпились у дверей прачечной, чтобы видеть, как мы умчимся в легкий солнечный туман над рекой, и кричали нам, пока мы не скрылись под мостом.

Глава XX

Переменившиеся времена

В известном смысле этот туман так и не рассеялся. С этого дня он густой пеленой лежит в моей записной книжке. Пока Уаза была маленькой сельской рекой, она подносила нас близко к дверям домов, и мы могли разговаривать с поселянами в полях. Но теперь, когда она сделалась широка, жизнь, текущая на берегах, была вдали от нас. Такая же разница существует между большим шоссе и деревенской проселочной дорожкой, которая вьется между садами коттеджей. Теперь мы ночевали в городах, где никто не смущал нас расспросами. Мы вступили в цивилизованную жизнь, среди которой люди встречаются, не кланяясь друг другу. В малонаселенных местностях мы извлекаем всю пользу, какую только можем, из каждой встречи, в городе же держимся в стороне и заговариваем с посторонним, только наступив кому-нибудь на ногу. Мы перестали быть птицами залетными и никто не предполагал, чтобы мы явились не из соседнего города или не откуда-либо еще ближе. Например, я помню, как мы пришли к «Острову Адама» и встретили целые дюжины прогулочных лодок, высыпавших на воду под вечер; между настоящим путешественником и любителем не было ни малейшей разницы, разве только та, что мой парус был очень грязен.

Общество одной из лодок приняло меня за соседа. Ну, могло ли случиться что-нибудь более обидное? Вся романтическая сторона путешествия исчезла в эту минуту. В верховьях Уазы, где воду оживляли только рыбы, появление двух гребцов на байдарках не могло объясняться таким вульгарным образом; мы были странными и живописными путниками. Из удивления крестьян рождалась легкая и мимолетная интимность. В жизни идет непрерывный обмен, хотя это иногда трудно проследить, потому что десятки людей старше нас, а и до сих пор с начала времени счета не были сведены. Вы получаете пропорционально тому, что даете. Пока мы были странными путешественниками, предметами удивления, за которыми люди бегают, как за площадными шарлатанами, у нас также не было недостатка в развлечениях. Но едва мы унизились до того, что стали общим местом, как получилась скука для обеих сторон. В этом-то и заключается одна причина из дюжины, почему свет скучен для скучных людей.

Во время наших прежних приключений у нас всегда было какое-нибудь дело, и это оживляло нас. Даже порывы дождя имели на нас оживляющее влияние и выводили наши умы из оцепенелого состояния. Но теперь, когда река не текла в настоящем смысле этого слова, а только скользила по направлению к морю, ровно и одинаково, но незаметно, теперь, когда небо неизменно улыбалось нам изо дня в день, мы стали погружаться в золотую дремоту ума, которая нередко наступает после большого движения на открытом воздухе. Я не

раз приходил в оцепенение; я очень люблю это ощущение, но никогда не испытывал его в такой степени, как на Уазе. Это было апофеозом отупения.

Мы совершенно перестали читать. Иногда, когда я находил новую газету, я с особенным удовольствием пробегал отдельный эпизод печатавшегося в ней романа, но не мог выносить более чем трех отрывков подряд; даже второй уже приводил меня в отчаяние. Едва рассказ делался хотя бы до известной степени последовательным, он терял для меня всякую цену; только отдельная сцена или, как это бывает в фелетонах, полусцена, без предшествовавшего и последующего событий, имела силу занять меня как греза. Чем менее знал я из романа, тем более нравился он мне. Он составлял тему моих дум. Большую же часть времени, как я уже сказал, ни один из нас не читал, и мы употребляли весь тот небольшой промежуток времени, в который бодрствовали, то есть часы между сном и обедом, на рассматривание географических карт. Я всегда очень любил карты и могу путешествовать в атласе с большим наслаждением. Названия городов необычайно заманчивы; контуры берегов и линии рек чаруют глаз; когда видишь в действительности то место, которое раньше знал по карте, это производит сильное впечатление. Но вечерами, о которых я говорю теперь, мы водили пальцами по картам с тупой небрежностью. Мы нисколько не увлекались тем или другим местом. Мы смотрели на карту, как дети прислушиваются к своей болтовне, и читали названия

городов и деревень, сейчас же опять забывая их. В нас не было никакого воодушевления, невозможно было бы найти двух более спокойных, равнодушных людей. Если бы вы взяли от нас карту в минуту, когда мы особенно внимательно изучали ее, могу держать пари, что мы продолжали бы с таким же наслаждением смотреть на пустой стол.

Одна вещь увлекала нас – еда. Мне кажется, я обоготворил свою утробу. Я помню, как в воображении останавливался на том или другом кушаньи, мечтая о нем до того, что у меня начинали течь слюни. Задолго до остановки мой аппетит превращался в настойчивое неотвязное мучение. Иногда мы ставили наши байдарки рядом и на ходу обменивались гастрономическими мечтами. В течение многих миль в моей голове проносилась мечта о торте с хересом; это произведение английское, но, конечно, могло достигнуть и Уазы. Однажды, когда мы подходили к Вербери, Сигаретка заставил мое сердце подняться к моим губам, заговорив о паштете из устриц и о сотерне.

Я полагаю, никто из нас не признает той большой роли, которую в нашей жизни играют еда и питье. Аппетит до того повелевает нами, что мы можем переваривать самое простое мясо и с благодарностью заменять обед хлебом и водой; точно также есть люди, которым необходимо что-нибудь, хотя бы гид Бредшоу. Но и в еде есть романтическая сторона. Вероятно, столом увлекается большее число людей, нежели любовью, и я уверен, что еда гораздо занимательнее, нежели

театр. Думаете ли вы, как сказал бы Уольт Уитман, что вы менее бессмертны от этого? Истинный материалист тот, кто стыдится себя. Способность чувствовать запах в прованском масле не меньшая принадлежность человеческого совершенства, нежели способность видеть красоту красок заката.

Теперь мы продвигались без труда и без забот. Погружать весло то справа, то слева под надлежащим углом, смотреть вдоль реки, спускать маленькие пруды, которые собирались на закрытом носу байдарки, прищуриваться, чтобы защитить глаза против блеска искр солнца на воде, проходить под свистящим бечевым канатом баржи «Deo Gratias» или «Четыре Сына», все это не требовало особенного искусства. Известные мускулы работали в состоянии между сном и бдением, а в то же время мозг отдавался наслаждению отдыха и засыпал. Взглядом мы охватывали все самые крупные принадлежности картины и, полускрыв глаза, смотрели на рыбаков в блузах и полоскавшихся в воде прачек. Временами мы просыпались наполовину при виде колокольни, церкви, выскочившей из воды рыбы или обмотавшейся вокруг весла гирлянды речной травы, которую нужно было снять и бросить в воду. Но такие светлые мгновения бывали светлы только наполовину. Часть нашего существа призывалась к деятельности, но не все существо. Центральное бюро нервов, которое мы в некотором роде называем своей личностью, пребывало в спокойствии, точно министерство правительства. Большие колеса сознания лениво вращались в голове, как крылья

мельницы, не молотом муку. Иногда я в течение получаса считал удары моего весла и забывал сотни. Лыца себя мыслю, что животные не могут превзойти такого низкого уровня сознания. А как это было приятно! Какое терпимое настроение приносила с собой полудремота! Ничто не может сравниться с упоением человека, достигшего единственного апофеоза возможного для него – апофеоза тупости; кажется, будто он делается долголетним и почтенным, как дерево.

Глубину моего усыпления (я не могу сказать интенсивность его) сопровождало странное метафизическое явление. Помимо воли меня занимало то, что философы называют «я» и «не я», «его» и «поп его». Во мне было менее «меня» и более «не меня», чем обыкновенно. Я смотрел, как кто-то другой работал веслом; замечал, что чья-то, а не моя нога опиралась на подножку. Мое собственное тело, казалось, имело ко мне не больше отношения, нежели байдарка или река, или берега реки. Не одно это; что-то в моем уме, независимо от моего мозга, какая-то область моего собственного существа сбросила с себя подчинение и освободилась или же освободила кого-то, работавшего веслом. Я сжался, превратился в крошечное существо в уголке себя самого. Я уединился в своей собственной оболочке. Мысли являлись самовольно; это были не мои мысли, и я смотрел на них, как на часть пейзажа. Словом, полагаю, что я был настолько близок к нирване, насколько это возможно в практической жизни; и если я не ошибаюсь, то от души поздравляю будди-

стов. Это приятное состояние, не особенно совместимое с блеском ума, не особенно выгодное в смысле приобретения денег, но очень спокойное, восхитительное, удаляющее человека от любопытства и от тревоги. Изобразить подобное состояние можно, представив себе человека мертвецки напившегося, но вместе с тем трезво наслаждающегося своим опьянением. Я думаю, что землепашцы, работающие на полях, проводят большую часть своих дней в этом восторженном оцепенении, которое и служит объяснением их спокойствия и выносливости. Ну не грустно ли тратиться на опиум, когда можно получить даром еще лучший рай?

Такое состояние ума было самым великим подвигом нашего путешествия. Оно составляло дальнейший пункт, которого мы достигли. Действительно, этот пункт так удален от избитых тропинок, что я не надеюсь возбудить симпатию читателя к моему улыбающемуся кроткому идиотству. Мои идеи порхали, как пыль в солнечном луче; деревья, шпили церковей на берегах время от времени вырисовывались передо мной точно единственные твердые предметы среди клубящихся облаков, а ритмическое движение лодки и весла в воде превращалось в колыбельную песню, которая укачивала меня; кусок грязи на носу байдарки представлял собой что-то невыносимое, порой же, как мой спокойный товарищ, делался предметом моего внимания. Все время, пока река бежала, оба берега изменялись, я считал удары веслом, забывая сотни, и представлял собой самое счастливое живот-

ное во Франции.

Глава XXI

Вниз по Уазе. Внутри церквей

После Компьена мы в первый раз остановились в Пон-Сент-Максансе. На следующее утро я вышел на улицу вскоре после шести часов. Воздух был резок; в нем чувствовался мороз. На открытой площади стояли несколько женщин и ссорились, говоря о рынке; их голоса звучали на высоких сердитых нотах, как чирикание воробьев в зимнее утро. Редкие прохожие согревали дыханием руки и двигали ногами в деревянных башмаках, чтобы восстановить кровообращение. Улицы были наполнены ледяной тенью, хотя дым труб поднимался в золотистом солнечном свете. Если вы встанете довольно рано в эту пору года, то можете подняться с постели в декабре, а позавтракать в июне.

Я прошел к церкви, потому что в каждой церкви всегда есть на что посмотреть: на живых ли богомольцев или же на могилы умерших; если в ней нет ничего исторического, то, конечно, найдется что-нибудь из современной жизни. Вряд ли в церкви было так же холодно, как на улицах, но казалось еще холоднее. Ее белая средняя часть была положительно полярной, и пестрота главного алтаря больше обычного терялась среди холода и пустоты. Два священника сидели на своих местах, читали и ожидали прихожан. Очень старая

женщина молилась. Просто удивительно, как могла она перебирать четки, когда здоровые молодые люди дышали на ладонь и похлопывали себя по груди. Но больше всего меня приводил в отчаяние характер ее молитвы. Она переходила от алтаря к алтарю, совершая кругосветное плавание по церкви. У каждого алтаря она перебирала четки одинаковое количество раз и стояла одинаково продолжительное время. Как осторожный капиталист, старуха с несколько цинично-коммерческим видом желала поместить свои мольбы в несколько мест. Она хотела заручиться многими посредниками, чтобы они молили за нее Верховный Суд. Ни одного из святых или ангелов не делала она своим избранным заступником.

Я никогда не видывал более мертвенной старухи; она вся состояла только из странного соединения костей и пергаментной кожи. Ее глаза, смотревшие вопросительно на меня, были бессмысленны. Может быть, ее следовало назвать слепой; впрочем, это зависит от понятия о слепости. Быть может, она когда-нибудь любила, рожала детей, нянчила их, называла их ласковыми именами. Но теперь все это исчезло и не сделало старуху ни счастливее, ни умнее. По утрам ей оставалось только приходить в холодную церковь и выпрашивать кусочек небес. Задыхаясь, выскочил я на улицу в резкий воздух. Утро! Как устанет старуха до вечера. А если она не спит, что тогда? Хорошо, что немногим из нас приходится выставлять на вид нашу жизнь, когда мы достигаем се-

ми десятков лет; хорошо, что очень многие получают удар в голову вовремя, что называется, в расцвете лет, и уходят куда-то тайно страдать за свои безумия. Иначе между больными детьми и недовольными стариками мы потеряли бы всякое понятие о жизни.

В течение этого дня мне пришлось применять к себе всю мою мозговую гигиену; старуха застряла у меня в горле. Но вскоре я очутился на седьмом небе отупения, чувствуя только, что кто-то греб на байдарке, в то время как я считал его удары веслом, забывая сотни. Иногда мне делалось страшно, что я запомню сотни и удовольствие превратится в дело, но мой ужас оказывался химерой; точно по мановению волшебства, сотни исчезали из моей головы, и я не больше рассуждал о моих занятиях, чем человек, смотрящий с луны.

В Крейле, где мы остановились, чтобы позавтракать, мы оставили байдарки на плавучей прачечной, которая, так как уже наступил полдень, была занята толпой прачек с красными руками и громкими голосами. Только этих прачек и их бесцеремонные шутки и помню я изо всего Крейля. Если вы пожелаете, я могу заглянуть в мои исторические книги и сказать вам две-три цифры, потому что этот город часто фигурировал в английских войнах, но я предпочитаю упомянуть только о женском закрытом училище, которое заинтересовало нас потому, что оно было женским закрытым училищем, а также и потому, что нам представилось, что мы заинтересовали его обительниц. Словом, в саду были две девушки,

а на реке мы; и когда мы миновали ограду, в воздухе поднялось несколько белых платков. Мое сердце забилось, а между тем до чего мы, я и эти девушки, надоели бы друг другу и стали бы презирать друг друга, если бы встретились во время крокетной партии. Я именно люблю послать воздушный поцелуй или помахать платком существам, которых я не увижу никогда на свете, я люблю играть с возможностью, так сказать, вбивать гвозди, на которые не трудно повесить гирлянды фантазии. Это слегка встряхивает путника, напоминает ему, что не везде он путешественник, и что его странствие только сiesta во время настоящего движения жизни.

Церковь в Крейле – неопишное место. Ее заливал веселый свет из окон; украшена она медальонами с изображением скорбного пути. Одно из множества *ex voto* мне очень понравилось: со свода висела правильно сделанная модель баржи с пожеланием, чтобы Бог довел «Св. Николая» из Крейля благополучно до пристани. Барка сделана очень отчетливо и привела бы в восторг мальчишек, играющих на берегу. Больше всего меня поразила глубина опасности, которой остерегались люди, повесившие эту баржу. Вы можете повесить модель корабля, прекрасно; он бороздит море кругом всего света, посещает тропики или холодные полюсы, подвергается опасностям. Но «Св. Николай» из Крейля будет двигаться лет десять при помощи терпеливых бечевых лошадей по травянистому каналу, под ветвями трепещущих тополей и под управлением дремлющего шкипера; он будет со-

вершать все рейсы среди зелени, в зеленых берегах и никогда во всех своих странствиях не потеряет из виду какой-нибудь деревенской колокольни; неужели же вы думаете, что и этого нельзя сделать без вмешательства Провидения? Быть может, шкипер был юмористом, быть может, пророком и хотел этим примером напомнить народу о серьезных сторонах жизни?

В Крейле, как и в Нуайоне, святой Иосиф казался любимым святым за то, что он пунктуально исполнял просьбы богомольцев. Благодарный народ обозначал на таблетке с ex voto день и час, в которые молитвы были услышаны. Если время имеет значение, св. Иосиф самый лучший посредник. Я с удовольствием видел, что он чтится во Франции, потому что у нас он играет ограниченную роль. Однако я невольно боюсь, что там, где святой так прославляется за свою точность, люди ждут и от него благодарности.

Для нас, протестантов, все это кажется пустым ребячеством. Будет ли благодарность людей за хорошие дары, полученные ими, умно задумана и как следует выражена – дело второстепенное; главное, чтобы они чувствовали благодарность.

Истинный невежда – человек, не знающий, что дарованное ему – благой дар, или воображающий, что он сам добыл себе его. Человек, сам создавший себе положение и гордящийся этим, в сущности, пустой хвостун. Есть значительная разница между созданием света среди хаоса и зажиганием газа в гостиной при помощи коробочки патентованных спи-

чек; как хотите, в последнем случае не все создано нами, например, наши собственные пальцы.

В Крейльской церкви было нечто еще худшее, нежели ex voto, а именно объявления «Ассоциации Живых Четок» (о которой я никогда прежде не слышал). Эта ассоциация, по словам напечатанного объявления, основана письмом папы Григория XVI 16 января 1832 г.; согласно же раскрашенному барельефу, ее учредила сама Св. Дева, дав одни четки св. Доминику, в то время как младенец Спаситель дал другие св. Екатерине Сиенской. Папа Григорий не так внушительен, но он ближе. Я не мог вполне понять, занимается ли ассоциация только молитвой или имеет в виду и добрые дела. Как бы то ни было, она очень хорошо организована. Каждую неделю четырнадцать матрон и молодых девушек принимают на себя обязанности членов ассоциации. Одна обыкновенно замужняя женщина выбирается как *Zélatrice* (сорежновательница) и стоит во главе. В награду за исполнение обязанностей ассоциации следуют индульгенции полные или частные. «Частные индульгенции выдаются после чтения четок». «За прочтение требуемой *dizaine*» сейчас же выдается частная индульгенция. Когда люди служат царству небесному со счетной книжкой в руках, я всегда боюсь, что они внесут то же коммерческое направление и в свои отношения с братьями-людьми, и это превратит жизнь в нечто печальное и непривлекательное.

Но в правилах ассоциации есть одна более утешительная

статья: «Эти индульгенции могут быть применяемы и к душам в чистилище». Ради Бога, дамы ассоциации, поскорее примените все индульгенции, без исключения, к душам в чистилище! Борнс не брал гонорара за свои последние песни, он предпочитал служить родине бескорыстно. Что, если бы вы, mesdames, последовали его примеру и отказались от индульгенций, выданных вам в пользу томящихся в чистилище душ? Ведь если они, эти души, не получают особенного облегчения от вашего великодушия, то, во всяком случае, оно не повредит никому в Крейле на Уазе; в чистилище не получили бы значительного облегчения, но и души в Крейле на Уазе не почувствовали бы себя от этого хуже ни в этой жизни, ни потом.

Набрасывая эти замечания, я невольно думаю, может ли человек, рожденный и воспитанный в протестантской религии, понимать католические внешние символы, отдавать им должную справедливость? По совести говорю – нет. Верующим они не могут казаться такими непривлекательными и пустыми, как мне. Я вижу это так же ясно, как геометрическое предложение Евклида. Ведь эти верующие не слабы духом и не злы. Они могут вывешивать свои таблетки, прославляющие св. Иосифа за его точность, точно он по-прежнему деревенский плотник; они могут читать «установленную *dizaine*» и, выражаясь метафорически, класть в карман индульгенцию, точно вступив с небом в сделку; и в то же время, выйдя из церкви, не смущаясь смотреть на чудную

реку, протекающую мимо них, без стыда поднимать голову к звездам, которые сами по себе миры, полные текущих рек, более роскошных, чем Уаза. Я вижу, повторяю так же ясно, как предложение геометрии Евклида, что их мировоззрение недоступно моему протестантскому уму, что во всем кажущемся мне уродством кроется более высокий, более религиозный смысл, нежели я думаю.

Не знаю, будут ли другие так же снисходительны ко мне, как я к людям. Как дамы Крейля, я, прочитав мои четки терпимости, ожидаю немедленной индульгенции.

Глава XXII

Преси и марионетки

Ко времени заката мы были в Преси. Вся долина покрыта пышными купами тополей. Уаза течет под откосом холма, образуя широкую, блестящую дугу. Легкий туман поднимался от реки и скрывал расстояния между предметами. Стояла полная тишина; слышались только колокольчики овец, пасшихся где-то на лугу, да грохот колес телеги, которая съезжала с горы. Виллы в садах, лавки вдоль дороги – все, казалось, опустело накануне; и мне невольно хотелось идти осторожно, как идешь в молчаливом лесу. Вдруг мы завернули за угол и увидели лужок вокруг церкви, а на нем рой девушек в парижских костюмах; они играли в крокет. Их смех и глухие удары молотков о шары весело раздавались; взгляд на фигуры, затянутые в корсеты, украшенные лентами, взволновали наши сердца. Казалось, мы были в двух шагах от Парижа. Наконец-то мы видели женские существа нашей породы, игравшие в крокет, точно Преси был город в реальной жизни, а не составлял части волшебной страны путешествия. Говоря откровенно, крестьянку почти нельзя и считать женщиной, а мы очень долгое время встречали только создания в грубых юбках, существа, которые суетились, кричали и готовили обеды, а потому теперь это общество кокеток во всеору-

зии произвело на нас странное впечатление и сразу убедило, что мы слабые мужчины.

Гостиница в Преси – худшая гостиница во Франции. Даже в Шотландии не подавали мне никогда худшего кушанья. Ее держали брат и сестра, оба несовершеннолетние. Сестра, так сказать, приготовила для нас кушанье. Брат, который сильно выпил, шатаясь вошел в комнату и привел с собой пьяного мясника, чтобы занять нас, пока мы ели. Нам подали куски слегка подогретой свинины в салате и какое-то неизвестное вещество в рагу. Мясник занимал нас рассказами о парижской жизни, с которой он, по его словам, был хорошо знаком. Брат сидел на краю бильярдного стола, сильно качаясь и посасывая окурки сигары. В разгаре этих развлечений раздался звук барабанов, и хриплый голос начал говорить речь. Пришел содержатель марионеток, объявивший, что вечером будет его представление.

Он расположил свой барак на другой стороне лужка девушек, под одним из тех открытых навесов, которые так часто во Франции защищают рынки. Когда мы подошли к навесу, содержатель театра и его жена пытались привести слушателей в порядок.

Происходил нелепый спор. Комедианты поставили несколько скамеек, и все, сидевшие на них, должны были платить по два су за удобство; скамьи были совершенно полны, пока ничего не происходило. Но едва жена хозяина кукол появилась, чтобы собрать деньги, и раздавались первые

удары ее тамбурина, как все зрители вскакивали с места и останавливались кругом, заложив руки в карманы. Такое поведение, конечно, вывело бы из себя и ангела. Содержатель марионеток кричал со сцены; он был во всей Франции, и нигде, нигде, даже близ границ Германии, не встречал такого ужасного поведения, таких воров, мошенников и негодяев! Время от времени выходила и его жена и прибавляла к тираде мужа несколько едких замечаний. В этом случае я, как и повсюду в других местах, видел, до чего женский мозг обилен материалом для оскорблений. Зрители хохотали, слыша воззвание комедианта, но под градом язвительных выходов его жены они возмущались и громко протестовали. Она затрагивала их самые болезненные струны. Она держала в своих руках честь своей деревни. Из толпы раздавались сердитые голоса, но она бросала сильные возражения. Две старушки, бывшие подле меня и заплатившие за места, страшно покраснелись и громко говорили между собою о нахальстве фигляров. Едва жена содержателя марионеток услышала их рассуждения, как бросилась к ним с налета. Если *medames* уговорят своих соседей действовать честно, фигляры будут с ними вежливы, уверяла она; *medames*, вероятно, кушали сегодня суп и, быть может, выпили по стакану вина? Фиглярам тоже хотелось бы супу и им неприятно, что у них на глазах крадут их маленький заработок. Однажды дело дошло до стычки между содержателем театра и мальчишками; содержатель марионеток сейчас же полетел на землю так поспеш-

но, точно был одной из его кукол; это вызвало взрыв хохота.

Все происходившее очень удивило меня, потому что я отлично знаю французских, более или менее аристократических бродяг, и всегда видел, как их любят. Каждый бродячий артист должен быть дорог здравому человеку, хотя бы как живой протест против душных контор и меркантильности; иногда они напоминают нам, что жизнь может быть и не тем, во что мы по большей части превращаем ее. Даже когда немецкая труппа рано утром уходит из города, отправляясь странствовать по селам среди лесов и лугов, она оставляет в воображении романический аромат. Нет ни одного человека, не достигшего тридцати лет, настолько холодного, чтобы его сердце не дрогнуло в груди при виде цыганского лагеря. Мы не все ремесленники или, по крайней мере, не вполне. В человечестве до сих пор еще есть жизнь, и молодежь находит, время от времени, возможность вставить слово презрения к богатству, иногда бросает хорошее положение, чтобы уйти бродить с сумкой за плечами.

Англичанину всегда легко разговориться с французским гимнастом, потому что Англия естественная страна гимнастов. Всякий малый, затянутый в трико и осыпанный блестками, конечно, знает слова два по-английски, так как, наверно, он пил английские *aff-n-aif*³ и, может быть, давал свои представления в английских кафешантанах. По профессии

³ Half-and-half, буквально: половина и половина, – смесь эля и портера, поровну (*прим. перев.*).

он мой соотечественник. Как бельгийский спортсмен, он сейчас же воображает, что я сам должен быть атлетом.

Но гимнаст не мой любимец – в веществе, из которого он создан, слишком мало артистического. По большей части его душа узка и прикреплена к земле, потому что его профессия не затрагивает ее и не приучает его к высоким идеям. Если же человек хотя бы настолько принадлежит к числу актеров, что может кое-как сыграть маленький фарс, новый поток идей делает его свободным человеком; ему есть о чем подумать, кроме денежного ящика. У него своеобразная гордость и, что еще гораздо важнее, перед ним есть цель, которой он никогда не достигнет вполне. Он отправится в паломничество, которое продлится всю его жизнь; в этом паломничестве нет конца, так как это совершенно недостижимо. Артист старается ежедневно понемногу совершенствоваться в своем искусстве или, даже бросив эту попытку, вечно помнить, что когда-то у него был высокий идеал, что когда-то он любил звезду. «Лучше любить и погибнуть». Хотя бы луна не отвечала Эндимиону и хотя бы Эндимиону пришлось спуститься к свинопасу и откормленным свиньям, неужели вы думаете, что он до конца дней не двигался бы с большей грацией и не лелеял бы конца более высоких мыслей, нежели остальные люди? Олухи, которых он встречает в церкви, не думают ни о чем более высоком, нежели свиные рыла, в сердце же Эндимиона есть воспоминание, которое, как волшебное зелье, сохраняет его свежим и гордым.

На всякого человека, хотя бы слегка причастного к искусству, ложится прекрасный отпечаток. Я помню, как однажды обедал в гостинице «Замок „Лондон“». Большинство общества, несомненно, принадлежало к классу торговцев, некоторые к классу крестьян, но между ними был один молодой человек в блузе, лицо которого поразительным образом выдавалось из числа остальных. Оно казалось законченнее; из него смотрело больше души; на нем лежало живое, яркое выражение, глаза молодого человека смотрели наблюдательным взглядом. Мой товарищ и я долго раздумывали, кем бы он мог быть. В «Замке „Лондон“» была ярмарка, и когда мы отправились к балаганам, то получили ответ на наш вопрос, так как увидели, что наш молодой человек усердно играл на скрипке танцы для крестьян. Он был странствующим скрипачом.

Однажды в ту гостиницу, в которой я жил, в департаменте Сены и Марны, пришла странствующая труппа. Ее составляли: отец, мать, две дочери, загорелые краснощекие девушки, которые пели и играли на сцене, не зная ни того, ни другого искусства, и смуглый молодой человек, походивший на наставника, возмущившийся маляр, который недурно пел и играл. Душой труппы была мать, если только душой может быть такое собрание несообразностей и невежества; ее муж не находил слов, чтобы выразить свое восхищение ее комическим талантом.

– Вам бы следовало посмотреть, как моя старушка игра-

ет, – сказал он и покачал головой с раздувшимся от пива лицом.

Вечером они играли на дворе при свете пылающих ламп; это было жалкое представление, холодно принятое деревенскими зрителями. На следующий вечер, едва зажгли лампы, полил сильный дождь и актерам пришлось наскоро собирать свой багаж и бежать в сарай, где они жили. Они измокли, озябли, остались без ужина. На следующее утро мой дорогой друг, так же любивший бродячих артистов, как и я, собрал для них маленькую сумму и послал ее им через меня, чтобы несколько смягчить их огорчение. Я передал отцу деньги; он от души поблагодарил меня, и мы вместе с ним выпили по чашке чаю в кухне, говоря о дорогах, о зрителях и о тяжелых временах.

Когда я уходил, мой комедиант поднялся со шляпой в руке.

– Я боюсь, – сказал он, – что monsieur сочтет меня попрошайкой, но у меня есть к нему еще одна просьба. – В эту минуту я возненавидел его. – Мы опять играем сегодня вечером, – продолжал актер. – Конечно, я откажусь от денег monsieur и его друзей, которые уже были так щедры. Но сегодняшняя наша программа действительно хороша, и я надеюсь, что monsieur почтит нас своим присутствием. – И, пожав плечами, он прибавил с улыбкой: – Monsieur понимает тщеславие артиста.

Скажите на милость, тщеславие артиста! Такого рода ве-

щи мирят меня с жизнью: оборванный, жалкий, невежественный бродяга с манерами джентльмена, и тщеславие артиста, которое поддерживает самоуважение!

Но больше всего мне по сердцу господин Воверсен. Я в первый раз видел его два года тому назад и надеюсь, что опять часто буду встречать его. Вот его первая программа, которую я нашел у себя на столе за завтраком и храню с тех пор как реликвию светлых дней:

Mesdames et Messieurs!

Mademoiselle Ferrario et m-r de Vauversin auront l'honneur de chanter ce soir les morceaux suivants:

Mademoiselle Ferrario chantera: – Mignon. – Oiseaux Légers. – France. – Des français dorment la. – Le château bleu. – Ou voulez vous aller?

M-r de Vauversin: – Madame Fontaine et m-r Robinet. – Les plongeurs a cheval. – Le mari mécontent. – Tais-toi, gamin. – Mon voisin l'original. – Heureux comme pa. – Comme on est trompé⁴.

Они устроили подмости в одном конце столовой. И какой вид был у господина де Воверсена в то время, как он с папироской в зубах пощипывал гитару и следил за глазами ма-

⁴ Милостивые государыни и государи! Мадемуазель Ферарио и господин де Воверсен будут иметь честь сегодня вечером исполнить следующие номера: Мадемуазель Ферарио пропоет: – Миньона. – Прошу вас птички об одном. – Франция. – Французы, спящие там. – Синий замок. – Куда хотите вы идти? Господин де Воверсен исполнит: – Госпожа Фонтен (водоем) и господин Робине (кран). – Пловцы на лошади. – Недовольный муж. – Молчи, мальчишка. – Мой сосед-чудак. – Счастливый таким образом. – Как бывают обмануты.

демуазель Ферарио послушным взглядом собаки. Такие развлечения стоят на одной степени с томболой или покупкой лотерейных билетов; они прекрасное удовольствие со всем возбуждением игры и без надежды на выигрыш, вселяющий в вас стыд за вашу горячность. Ведь в этом случае для вас все проигрыш. Вы то и дело опускаете руку в карман; люди состязаются, кто больше истратит денег в пользу господина де Воверсена и мадемуазель Ферарио.

Господин де Воверсен – маленький человечек с большой черноволосой головой. Лицо его живо и приветливо; улыбка имела бы замечательную привлекательность, будь его зубы получше. Когда-то он был актером в Шателе, но, заболев нервным расстройством от жары и яркого света рампы, он покинул сцену. Во время этого кризиса мадемуазель Ферарио, или Рита из Альказара, согласилась разделить его скитания. «Я не мог забыть великодушие этой женщины», – сказал он. Господин де Воверсен носит такие узкие панталоны, что все знающие его долго ломали голову, как он надевает и снимает их. Он немного пишет акварелью, сочиняет стихи; он самый терпеливый рыбак на свете и проводит долгие дни в глубине сада гостиницы, бесплодно забрасывая удочку в светлую реку.

Послушали бы вы, как он рассказывает о случаях из своей жизни за бутылкой вина. Он так хорошо, так охотно говорит, улыбаясь над собственными злоключениями, время от времени впадая в серьезность, как человек, слышащий при-

бой над пучиной, потому что, может быть, не далее как вчера, его сбор достиг только полутора франков на покрытие трех франков дорожных издержек и двух, ушедших на плату за комнату и еду. Мэр, человек с миллионным состоянием, сидел против сцены и все время аплодировал мадемуазель Ферарио, а между тем заплатил только три су. Местные власти так дурно смотрят на странствующих артистов. Увы, я хорошо знаю это, так как меня самого приняли однажды за бродячего актера и посадили в тюрьму в силу недоразумения. Однажды господин де Воверсен был у полицейского комиссара, чтобы попросить у него разрешения петь. Комиссар, куривший папиросу, вежливо снял шляпу. «Господин комиссар, – начал Воверсен, – я артист». Шляпа комиссара отправилась на прежнее место. Товарищи Аполлона не устаиваются вежливости. «Их унижают вот так», – сказал господин де Воверсен, ударив по папироске.

Но больше всего мне понравился взрыв его чувства, когда однажды мы целый вечер говорили о неприятностях, унижениях его бродячего существования. Кто-то заметил, что было бы приятнее иметь миллион, и мадемуазель Ферарио сказала, что она променяла бы свою жизнь на жизнь миллионерши.

– Eh bien, moi non, я нет! – крикнул де Воверсен, ударив кулаком по столу. – Кто больше меня неудачник? У меня было искусство, в котором я шел хорошо, не хуже других, а теперь оно закрыто для меня. Я принужден разъезжать, соби-

рая медные монеты и распевая разные глупости. Но неужели вы думаете, что я недоволен существованием? Неужели вы думаете что я предпочел бы сделаться жирным буржуа, спокойным, как откормленный теленок? Нет, нет. Иногда мне аплодировали на сцене, и это не волновало меня. Но порой, в те разы, когда в зале не раздавалось ни хлопка, я сам чувствовал, что нашел правильную интонацию или выразительный жест, и тогда, господа, я понимал, что значит хорошо выполнить свою задачу, что значит быть артистом. Тот, кто знает, что такое искусство, имеет вечный интерес в жизни, и такой, какого не переживает буржуа в своих меркантильных понятиях. *Tenez, monsieur, je vais vous le dire* – это похоже на религию.

Таково было исповедание веры господина де Воверсена; конечно, я привел его с некоторыми отступлениями, зависящими от недостатка памяти и неточности перевода. Я назвал Воверсена его собственным именем, чтобы другой странник, если он встретит этого милого артиста с его гитарой, папироской и мадемуазель Ферарио, узнал его. Ведь каждый с восторгом почитает этого несчастливого и верного последователя муз. Да пошлет ему Аполлон до сих пор неведомые рифмы! Да не будет река более скупиться, пряча от его удочки своих серебристых рыб! Да не будет холод щипать его во время долгих зимних переездов, или деревенские власти оскорблять невежливыми манерами! Да не потеряет он никогда мадемуазель Ферарио, за которой следит внимательными гла-

зами, аккомпанируя ей на гитаре!

Марионетки были жалким развлечением. Они сыграли пьесу под названием «Пирам и Тизба» в пяти смертельно длинных актах, написанных александрийскими стихами, такими же длинными, как сами действующие лица. Одна марионетка была королем, другая дурным советчиком, третья, одаренная изумительной красотой, изображала Тизбу; кроме того, на сцене являлись стражники, жестокие отцы и странствующие джентльмены. В течение двух-трех актов, которые я смотрел, не случилось ничего особенного, но вы с удовольствием услышите, что единство было соблюдено, и пьеса, за одним исключением, подчинялась весьма классическим правилам. Это исключение составлял комический крестьянин, худая марионетка в деревянных башмаках. Кукла говорила прозой на простонародном языке, очень нравившемся зрителям. Крестьянин обращался чрезмерно свободно с личностями своего государя, бил товарищей-марионеток в лицо деревянными башмаками и в то время, когда на сцене не было ни одного из ухаживателей Тизбы, говорящих стихами, комической прозой признавался ей в любви.

Игра этого малого и маленький пролог, в котором содержатель кукольного театра юмористически хвалил свою труппу, прославляя актеров за их полное равнодушие к аплодисментам и свисткам и за их преданность искусству, только и вызвали мою улыбку. Но обитатели Преси, казалось, были в восторге. Действительно, если вам показывают что-либо,

за что вы заплатили, вы почти наверно останетесь довольны. Если бы с вас брали плату за право смотреть на закаты солнца или если бы Бог посылал вестников с барабанами перед расцветом боярышников, как много говорили бы мы о красоте тех и других. Но мы привыкаем к этим явлениям, как к хорошим товарищам; глупые люди скоро перестают замечать их, и торгаш, в широком значении этого слова, едет и не видит цветов, красующихся вдоль дороги, или красоты неба над головой.

Глава XXIII

Обратно в свет

О том, что случилось во время двух последовавших за тем дней, у меня осталось мало в уме и почти ничего в моей записной книжке. Река спокойно катилась между прибрежными пейзажами. Прачки в синих платьях и рыбаки в синих блузах разнообразили зеленые берега; смешение этих двух цветов казалось соединением листьев и цветов незабудки. Симфония незабудок. Я думаю, Теофил Готье мог бы так характеризовать двухдневную панораму, проходившую перед нашими глазами. Небо было чисто и безоблачно, и в спокойных местах поверхность реки служила зеркалом для неба и берегов. Прачки весело окликали нас, а шелест деревьев и шум воды служили аккомпанементом нашей дремоты.

Величина реки и ее неутомимое стремление сковывали наш ум. Теперь она казалась уверенной, спокойной и сильной, точно взрослый решительный человек. Валы приборя шумели, ожидая ее на отмелях Гавра.

Скользя в моей байдарке, походившей на скрипичный ящик, я также чувствовал близость моего океана. Каждый цивилизованный человек, рано или поздно, начинает жаждать цивилизации. Мне надоело грести, мне надоело жить вне жизни, мне захотелось погрузиться в нее, захотелось ра-

ботать; мне захотелось видеть людей, которые понимали бы мою речь, стояли бы со мной на равной ноге и смотрели на меня, как на человека, а не как на редкость.

Письмо, полученное в Понтуазе, заставило нас решиться, и мы в последний раз вытащили наши байдарки из Уазы, которая долгое время несла их на себе под дождем и солнечным светом. Столько миль это жидкое безногое воровое животное было связано с нашей судьбой, и, отвернувшись от него, мы почувствовали ощущение разлуки. Мы удалились от света, странствовали вне его, теперь же снова вернулись в знакомые места, в которых сама жизнь несет нас, и нам не нужно ударять веслом, чтобы сталкиваться с приключениями. Теперь нам предстояло увидеть, какие усовершенствования произошли за наше отсутствие кругом нас, какие неожиданности караулили нас дома, и куда, и как пропутешествовал свет. Можно грести целый день, но, вернувшись вечером домой и заглянув в знакомую комнату, увидеть, что у очага тебя поджидает любовь или смерть. И, право, не те приключения, за которыми отправляемся мы, самые лучшие!

Эпилог

Местность, где они теперь путешествовали, зеленая, освежаемая ветерком долина Луана, способна пленить людей жизнерадостных и одиноких. Погода стояла великолепная: по ночам гремел гром, сверкала молния, и дождь лил потоками; а днем – безоблачное небо, жаркое солнце, прозрачный и чистый воздух. Шли они врозь; Сигаретка, с довольно философским видом, тащился где-то сзади, худощавый Аретуза торопился вперед.

Таким образом, каждый мог предаваться в пути собственным своим размышлениям; каждому, вероятно, они успевали порядком наскучить ко времени условленной встречи с попутчиком в каком-нибудь трактире, и их день был заполнен всеми удовольствиями компании и одиночества. В сумке у Аретузы были сочинения Карла Орлеанского, и он в течение нескольких часов пути занимался стряпней английских хороводных песен. На этом поприще он был предшественником Лэнга, Добсона, Хенлея и всех современных хороводных поэтов; но, по уважительным причинам, он опубликует свои труды самыми последними. Сигаретка же был обременен томом сочинений Мишле. Обе эти книги, как скоро будет видно, сыграли роль в предстоящем приключении.

Аретуза был в неблагоприятном одеянии. Он вообще не строг в выборе своей одежды, но, конечно, он никогда еще не

был под таким злополучным влиянием, как на этот раз: дело в том, что он, без долгих сборов, отправился в путь из наименее чопорного места во всей Европе – из Барбизона. На голове у него была индусская тибетейка, на которой золотое шитье плачевным образом потерялось и потускнело. Фланелевая рубашка приятного темного цвета, которую люди, склонные к сатире, называли черной, легкий пикейный пиджак, сшитый хорошим английским портным, купленные готовые дешевые полотняные брюки и кожаные штиблеты составляли его наряд. По внешности, он был на редкость худощав, а его лицо, в отличие от лиц более счастливых смертных, не могло служить удостоверением благонадежности. За все эти годы каждый его переезд через границу, каждое его посещение банка возбуждало подозрения; полиция косилась на него всюду, кроме его родного города; и (хотя я уверен, что это покажется неправдоподобным), ему решительно закрыт доступ в казино в Монте-Карло. Представьте его в вышеописанном костюме, вообразите его, согбенного под тяжестью сумки, идущего со скоростью около пяти миль в час, так что складки полотняных брюк развеваются вокруг его веретенообразных ног, и все время с живым вниманием смотрящего по сторонам, как будто его кто преследовал по пятам, – и фигура, которая получится, далеко не внушит вам доверия. Когда Виллон отправлялся к месту своего изгнания в Руссильоне (и проходил, быть может, именно через эту прелестную долину), то не было ли в его внешности чего-нибудь по-

хожего? Что он коротал свое время подобным же образом, в том нет сомнения, потому что и он в дороге сочинял стихи, но с большим успехом, чем его последователь. И если на его долю выпало что-нибудь похожее на эту вдохновляющую погоду с ее бушующими ночами, когда люди в латных доспехах грохочут и с гулким топотом сбегают по небесным лестницам и когда дождь хлещет на улицах деревни, а свирепые отблески грозы до утра озаряют внезапными вспышками голые стены трактирного номера, и с теми же повторениями ясного утра, бездонной полуденной синевы и пылающего спокойного заката, и, в особенности, если у него был такой же хороший товарищ, и он находил такое же острое наслаждение во всем, что он видел, что ел, в той реке, где он купался и в той дребедени, которую он писал, то я бы сейчас же согласился поменяться своей участью с бедным изгнанником и считал бы себя в барышах.

Но между этими двумя путешественниками была и другая черта сходства, за которую Аретузе пришлось дорого заплатить: и тот и другой странствовали в не совсем безопасное время. Это было некоторое время спустя после франко-прусской войны. Хоть люди и быстро все забывают, но в этой местности еще живы были предания об уланах, о часовых на форпостах, о чудесных спасениях от позорной петли и о приятной, но мимолетной дружбе между победителями и побежденными. Через год, самое большее через два, вы могли бы обойти всю местность вдоль и поперек и не услышать

ни единого анекдота. И через год или два (если б вы и были подозрительным с виду молодым человеком в несуразном костюме), вы могли бы совершить вашу прогулку с большою безопасностью, потому что, наряду с другими, более интересными подробностями, прусский шпион к тому времени несколько потускнел бы в воображении людей.

Как бы то ни было, наш путешественник уже миновал Шато-Ренар, когда он впервые почувствовал, что возбуждает всеобщее удивление. По пути, между этим местом и Шатильон-сюр-Луаном, он встретил сельского почтальона; они заговорили друг с другом и продолжали беседовать о всякой всячине, но при этом заметно было, что почтальон занят какою-то неотвязной мыслью, и его глаза часто возвращались к сумке Аретузы. Наконец, он с таинственным лукавством осведомился о ее содержимом и, получив ответ, с ласковой недоверчивостью покачал головою. «Non, – сказал он, – non, vous avez des portraits». Потом добавил каким-то протяжным, умоляющим тоном: «Voyons, покажите мне портреты». Лишь по прошествии некоторого времени Аретуза понял, на что он намекает, понял и расхохотался. Говоря о «портретах», он подразумевал фотографические карточки непристойного содержания, а в Аретузе, в этом строгом нарождавшемся авторе, он, ему казалось, распознал бродячего торговца порнографией! Если французский крестьянин своим умом припишет кому-нибудь определенный род занятий, то никакие доводы не способны его в этом разуверить. И почта-

льон всю остальную дорогу тянул свою медовую песню, прося, чтоб ему хоть разок дали взглянуть на коллекцию; то он упрекал, то начинал уговаривать: «Voyons, я никому не скажу»; прибегал даже к подкупу и хотел во что бы то ни стало заплатить за стакан вина; и, наконец, расставаясь на перекрестке, сказал: «Non ce n'est pas bien de votre part. O, non ce n'est pas bien». И качая головой с грустным сознанием понесенной несправедливости, он так и ушел, не получив удовлетворения.

Я не располагаю возможностями, чтобы входить в подробности некоторых мелких затруднений, встреченных Аретузою в Шатильон-сюр-Луане; слишком близко висится другой Шатильон, с которым связаны более леденящие воспоминания. На другой день, проходя через деревню, которая называется La Jussiere, он остановился выпить стакан сиропу в очень бедной и почти пустой распивочной лавчонке. Хозяйка, пригожая женщина, кормила грудью ребенка и в то же время ласково и сострадательно разглядывала путешественника. «Вы не здешнего департамента?» – спросила она. Аретуза ответил ей, что он англичанин. «А!» – промолвила она с изумлением. – «У нас тут нет англичан. Итальянцев довольно много и живетя им очень хорошо, на здешний народ не жалуются. Ну, англичанину тоже можно здесь прожить: он новизной возьмет». Эти слова были загадочны, и Аретуза ломал над ними голову, допивая свое гранатовое питье, но когда он встал и спросил, сколько надо заплатить, то догадка

озарила его внезапно, как молния. «О, pour vous, – ответила хозяйка, – полпенни!» – «Pour vous? Боже мой, она приняла его за нищего!» Он заплатил полпенни, чувствуя, что поправить ее было бы слишком невежливо. Но как только он пустился в дальнейший путь, досада начала мучить его. Наша совесть чуждается джентльменского великодушия, скорее она склонна к раввинизму; и совесть Аретузы говорила ему, что он украл стакан сиропу.

Путники переночевали в Жиане. На следующий день они переправились через реку и, направляясь в Шатильон-сюр-Луар, приступили (порознь, как всегда) к следующему небольшому этапу, лежавшему среди зеленых равнин беррийского берега. Это было как раз в день открытия охотничьего сезона; в воздухе то и дело раздавались ружейные выстрелы и восторженные крики охотников. Над головой встревоженные птицы кружились стаями, садились и снова взлетали. Но несмотря на всю эту окружающую суматоху, дорога была безлюдна. Аретуза, присев у верстового столба, закурил трубку, и я хорошо помню его подробные размышления насчет всего, что ему предстояло в Шатильоне: с каким наслаждением он окунется в холодную воду, как он переменит рубаху и как он, в восторженном бездействии будет ожидать Сигаретку на берегах Луары. Воспламенившись этими мечтаниями, он с тем большей стремительностью пустился вперед и вскоре, после полудня, изнывая от жары, приблизился ко входу в этот злополучный город. «Роланд-Ору-

женосец к башне мрачной подошел».

Тень учтивого жандарма упала поперек дороги.

– *Monsieur est voyageur?* – спросил он.

И Аретуза, уверенный в своей невинности и совершенно забывший о своем преступном костюме, ответил... Я готов сказать, шутливым тоном: «По-видимому, так».

– Ваши бумаги в порядке? – осведомился жандарм. И когда Аретуза несколько изменившимся голосом признался, что у него таких с собою нет, то ему было заявлено (в достаточно учтивой форме), что он должен будет явиться к комиссару.

Комиссар сидел в своей спальне за столом; он снял с себя все, кроме рубахи и панталон, но все-таки обливался потом; и когда он повернул к арестованному свое широкое бессмысленное лицо, которое (как у Бардольфа) «все состояло из бородавок и прыщей», то даже самый непроницательный наблюдатель должен был предчувствовать нечто недоброе. Очевидно, это был человек тупой, одурелый к тому же от жары и раздосадованный тем, что нарушили его покой; его не проймешь ни просьбами, ни доводами разума.

Комиссар. У вас не оказалось бумаг?

Аретуза. С собой их не имею.

Комиссар. Почему?

Аретуза. Они следуют за мной в чемодане.

Комиссар. Но вы же знаете, что путешествовать без документов запрещено?

Аретуза. Простите, я убежден в противном. Я нахожусь здесь на основании своих прав – английского подданного, и это подтверждено международным договором.

Комиссар (презрительно). Вы именуете себя англичанином?

Аретуза. Да.

Комиссар. Гм... Ваш род занятий?

Аретуза. Я – шотландский адвокат.

Комиссар (с видом нетерпеливой досады). Шотландский адвокат! Неужели вы станете еще утверждать, что вы в нашем департаменте добываете себе пропитание этой практикой?

Аретуза скромно возразил, что он вовсе не питает подобных притязаний. Комиссар что-то отметил на бумаге.

Комиссар. Зачем же вы в таком случае путешествуете?

Аретуза. Я путешествую для своего удовольствия.

Комиссар (указывая на сумку с величественным недоверием). *Avec ça? Voyez vous, je suis un homme intelligent!*⁵.

Преступник умолк, уничтоженный этим метким ударом, и комиссар несколько мгновений наслаждался своим триумфом; затем он (подобно почтальону, но с совсем другого рода ожиданиями!) пожелал узнать содержимое сумки. Тут Аретуза, еще не успевший вполне привыкнуть к своему положению, совершил грубую ошибку. В комнате почти не было мебели, кроме кресла и стола комиссара, и чтобы упростить

⁵ С этим? Полноте, я человек смышленный!

ход дела, Аретуза (с самым невинным видом) прислонил котомку к углу кровати. Комиссар буквально подпрыгнул со своего места, его лицо и шея не только покраснели, но сделались почти синими, и он заорал, чтобы эту святотатственную вещь переложили на пол.

В сумке оказались: смена рубах, башмаков, носков и полотняных брюк, несессер, кусок мыла в одном из башмаков, два тома Collection Jannet под заглавием Poésies de Charles d'Orléans, карта и тетрадь, содержащая, кроме разных заметок в прозе, ряд замечательных английских хороводных песен, сочиненных путешественником и до сего дня неопубликованных: шатильонский комиссар – единственный человек, которому довелось взглянуть на эти поэтические шалости. Он пренебрежительным перстом перелистывал все это собрание; по его брезгливости, легко было заметить, что он смотрит на Аретузу и на все его пожитки, как на истинный очаг заразы. Как бы то ни было, в карте не нашлось ничего подозрительного; единственным преступлением, в сущности, были эти хороводные вирши; что же касается Карла Орлеанского, то невежественный пленник даже возлагал на него большие надежды, как на своего рода удостоверение, и уже начинал думать, что вся эта комедия близится к концу.

Инквизитор снова занял свое место.

Комиссар (после паузы). Eh bien! Je vais vous dire, ce que vous êtes. Vous êtes allemand et vous venez chanter a la foire.⁶

⁶ Извольте, я сейчас скажу вам, кто вы такой. Вы – немец и отправляетесь петь

Аретуза. Хотите, я спою вам сейчас? Надеюсь, я таким образом докажу, что вы ошибаетесь.

Комиссар. Pas de plaisanterie, monsieur!

Аретуза. В таком случае будьте любезны, сударь, взгляните, по крайней мере, на эту книгу. Вот я, не глядя, открыл ее. Прочтите любую из этих песен – вот хотя бы эту – и скажите мне вы, смысленный человек, возможно ли петь ее на ярмарке?

Комиссар (критически). Mais oui. Très bien.

Аретуза. Comment, monsieur! Как! Разве вы не видите, что это – старинный язык! Даже вам или мне трудно понять, а ярмарочной публике это показалось бы просто бессмыслицей.

Комиссар (берясь за перо). Enfin, il faut en finir. Как ваше имя?

Аретуза (произнося с присущей англичанам быстротой, глотая буквы). Роберт Льюис Стив'нс'н.

Комиссар (оторопев). He! Quoi?

Аретуза (заметив это и обращая в свою пользу). Роберт Лью Стив'нс'н.

Комиссар (после нескольких стычек со своим пером). Eh bien, il faut se passer du nom. Ça ne s'écrit pas.⁷

Все вышесказанное представляет собою общее резюме этого важного собеседника; до сих пор я старался, главным

на ярмарке

⁷ Ладно, придется имя пропустить. Его невозможно написать

образом, воспроизвести все выпады комиссара, но остальная часть сцены не оставила почти ничего неопределенного в памяти Аретузы, вероятно, вследствие его возмущающего гнева. Комиссар, я полагаю, не был изошрен в литературных опытах; по крайней мере, лишь только он взялся за перо и приступил к составлению *procès-verbal*, тотчас же его неучтивость стала более заметна, и он начал обнаруживать предрасположение к этой простейшей форме всех возражений – «вы лжете!». Аретуза несколько раз стерпел это, но потом вдруг вспылал, отказался сносить дальнейшие оскорбления и отвечать на последующие вопросы, предоставил комиссару делать все, что ему вздумается, и пообещал, что ему придется горько раскаяться в этом. Возможно, что дело кончилось бы совершенно иначе, если б он с самого начала взял этот гордый тон, вместо того чтобы пускаться в разговоры и умствования, потому что даже в сей единый из десяти час комиссар был заметно поколеблен. Но слишком поздно; вызов был брошен; он приступил уже к *proces-verbal*; и он снова расставил локти над своим писанием, и Аретуза был уведен в качестве арестованного.

В нескольких шагах на раскаленной солнцем дороге стояло помещение жандармерии. Несчастливого отвели туда, и там он должен был выворотить свои карманы. Носовой платок, перо, – карандаш, трубка и табак, спички и франков десять мелкими монетами – вот и все. Ни документов, ни шифрованных писем, ни единого клочка бумаги, по которому мож-

но было бы установить виновность или удостоверить личность. Сам жандарм был испуган такой скудостью результатов.

– Я сожалею, – сказал он, – что арестовал вас: я вижу, что вы не voyou.

И он обещал ему всякие поблажки.

Аретуза, поощренный этим, спросил свою трубку. Невозможно, сказали ему, но если он желает, то ему дадут немного табаку. Отказавшись от этого, Аретуза попросил тогда вернуть ему платок.

– Non, – ответил жандарм, – nous avons eu des histoires de gens, qui se sont pendus. (Нет, мы слышали о случаях, когда люди вешались).

– Как! – воскликнул Аретуза. – И из-за этого вы отказываетесь дать мне носовой платок? Помилуйте, мне ведь еще легче повеситься на моих панталонах!

Тот был видимо поражен новизной этой идеи, но он остался верным своему девизу и продолжал лишь повторять неопределенные обещания каких-то услуг.

– По крайней мере, – сказал Аретуза, – постарайтесь арестовать моего попутчика; он вскоре пройдет по той же дороге, и вы его легко узнаете по сумке через плечо.

Тот обещал сделать это. А пленника повели кругом, на задворки здания, отворили дверь погреба, поставили его на лестницу и заскрипели засовы, загремели цепи за спиной спускавшегося вниз Аретузы.

Ум философский, а в особенности – одаренный воображением, склонен считать себя готовым к встрече с любой житейской неожиданностью. Тюрьма принадлежит к тем бедствиям, с которыми неоднократно хотел столкнуться неустрашимый Аретуза. Уже спускаясь по лестнице, он говорил себе, что это – великолепный сюжет для баллады, и что он, подобно заточенным коноплянкам рыцаря-трубадура, сумеет наполнить мелодией свою темницу. Скажу правду сразу: баллада так и осталась ненаписанной, иначе она была бы напечатана, чтобы вызвать у читателя улыбку. Тому помешали две причины: одна моральная, другая физическая.

К любопытнейшим свойствам человеческой природы принадлежит то, что хотя все люди лжецы, но ни один из них не стерпит, если это ему скажут открыто. Выслушивать хладнокровно обвинение во лжи – это подвиг, выходящий за пределы стоицизма; и Аретуза, уже сверх меры пресыщенный этим оскорблением, был внутренне снедаем раскаленной добела глухой яростью. Причина физическая тоже оказала свое воздействие. Подвал, где он был заперт, устроен был на несколько футов ниже уровня земли и освещался только узким, без стекол, отверстием в самом верху стены, закрытым к тому же листвою свежей виноградной лозы. Стены были из голого камня, пол – земляной; в качестве обстановки – глиняный таз, кувшин с водой и деревянная кровать с синевато-серым плащом взамен подстилки. Оторваться от горячего воздуха летнего полудня, от дорожного шума и жи-

вительной, быстрой ходьбы и быть ввергнутым в полумрак и сырость этого вместилища бродяг – каким ледящим холодом это должно было влиться в кровь Аретузы! Знаете ли вы, что сущий пустяк иногда превращается в жестокое лишение? Дело в том, что земляной пол был до крайности неровен; вероятно, то были еще следы лопат тех самых работников, которые рыли фундамент казарм; и благодаря тусклому сумраку и неровной поверхности пола ходить было невозможно. Заточенный автор довольно долго не сдавался, но холод пронизывал его все больше и больше, и, наконец, он, с неохотой, о которой предоставляю вам судить, взобрался на кровать и закутался в общественное одеяло. Так лежал он, почти дрожа от стужи, погруженный в полумрак, закутанный покровом, прикосновения которого он боялся как чумы, и (далеко не в духе покорности судьбе) перечитывал список только что полученных оскорблений. Такие обстоятельства не могут благоприятствовать музе.

Тем временем (если взглянуть на внешний мир, где солнце продолжало светить и охотничьи ружья по-прежнему трещали в заросшей кустами равнине), Сигаретка понемногу приближался своим философски неторопливым шагом. В ту пору свободы и здоровья он был постоянным компаньоном Аретузы и имел достаточно случаев разделять непопулярность, которою этот джентльмен пользовался в глазах полиции. Не одну горькую чашу испил он со своим вредоносным товарищем. Сам он, казалось, был от рождения предназна-

чен для того, чтобы пройти весь свой жизненный путь плавно и спокойно, так хорошо умел он внушить доверие своим лицом и обхождением. Одно только подозрительное обстоятельство вечно роняло на него тень, и это был – его попутчик. Едва ли он забудет комиссара во Франкфурте-на-Майне, иронически именуемом «свободным городом», как не забудет ни франко-бельгийской границы, ни трактира в Ла-Фере; и уж, конечно, он будет всегда помнить Шатильон-сюр-Луар.

При входе в город он попался в руки жандарма, как придорожный цветок, и через минуту в кабинете комиссара произошла встреча, которая их обоих повергла в величайшее изумление. Ибо если Сигаретка удивился своему аресту, то комиссар в неменьшей степени был поражен внешностью и кондициями своего нового пленника. Это был человек, относительно которого невозможно было сомневаться: человек бесспорно и безупречно воспитанный, безукоризненно аккуратный, одетый не только опрятно, но и с изяществом, готовый по первому требованию предъявить свой паспорт и хорошо снабженный деньгами; с таким человеком сам комиссар, пожалуй, первый раскланялся бы, встретив его на дороге; и этот-то beau cavalier, не краснея, заявляет, что Аретуза – его товарищ! Результаты допроса легко было предугадать заранее; из юмористических подробностей я запомнил только одну. «Баронет?» – спросил чиновник, читая паспорт и скидывая на Сигаретку глаза: – «Alors, monsieur, vous êtes

le fils d'un baron?» И когда Сигаретка (то была единственная его ошибка в продолжение всего допроса) опроверг это деликатное обвинение, то комиссар сказал: «Alors ce n'ets pas vorte passeport!» Но эти перуны были безобидного свойства; он и не думал никогда засадить Сигаретку в тюрьму. Вскоре затем он впал в состояние необузданного восторга, пожирая глазами содержимое саквояжа и расхваливая портного нашего друга. Ах, какого важного гостя принимал у себя комиссар! Какой отличный костюм у него был для жаркой погоды! Какие прекрасные карты, какое увлекательное историческое сочинение у него было в саквояже! Вы понимаете, конечно, что теперь они были несогласны только в одном пункте: как поступить с Аретузой? Сигаретка требовал его освобождения, комиссар же все еще продолжал смотреть на него, как на достояние темницы. Сигаретке случилось прожить несколько лет в Египте, и там он познакомился с двумя очень скверными вещами: он узнал, что такое *choiera morbus* и что такое паша. И вот, когда комиссар перелистывал томик Мишле, нашему путешественнику показалось, что в выражении его глаз есть что-то турецкое. Я упоминаю об этом вскользь; весьма возможно, что тут было простое недоразумение, весьма возможно также, что комиссар (очарованный своим посетителем) предположил взаимность чувства и почел доказательством возраставшей дружбы то, на что сам Сигаретка смотрел как на взятку. И во всяком случае, где и когда давалась такая необычайная взятка, как разрознен-

ный том «Истории» Мишле? Книга была обещана ему на завтра, до нашего отъезда. А вскоре после этого, потому ли, что он получил свою мзду, или для того чтобы показать, что он всегда рад оказать дружескую услугу, он промолвил: «*En bien, je suppose, qu'il faut lâcher votre camarade*». И он разорвал этот шедевр юмористической литературы, недоконченный *proces-verbal*. Ах, если б он вместо этого разорвал хорошие песни Аретузы! Многие из тех сочинений, что сгорели в Александрии, многие из тех, что хранятся в сокровищницах Британского музея, я охотно отдал бы за шатильонский *proces-verbal*! Бедный прыщавый комиссар! Я начинаю жалеть, что у него не было своего Мишле: я замечаю в нем столько благородных гуманных черт, такое фундаментальное тупоумие, такое увлечение своими должностными обязанностями, такой вкус к литературе, такую готовность восхищаться всем, что этого достойно. И если он не восхищался Аретузой, то ведь в этом он был не одинок.

До слуха узника, дрожавшего под общественным одеялом, вдруг донесся шум засовов и цепей. Он вскочил на ноги, готовый приветствовать товарища по несчастью, но вместо того дверь широко распахнулась, наверху в потоке яркого дневного света, показался дружелюбный жандарм и с величественным жестом (вероятно, он изучал драматическое искусство) сказал: «*Vous êtes libre!*» – «Давно пора!» – подумал Аретуза. Не знаю, провел ли он в заключении хоть полчаса; но по часам в человеческом мозгу (это были единственные

часы, которые он носил с собою) он пробыл там в восемь раз дольше. И он с восторгом поднялся по лестнице подземелья и отдался целебной теплоте дневного солнца; и запах земли обдал его такой отрадой, как будто он почуял на себе дыхание коровы; и он снова услышал (и готов был засмеяться от удовольствия) гармонию нежных шумов, которую мы называем гулом жизни.

Могут подумать, что на этом кончается мой рассказ, но нет, это был только конец акта, а не падение занавеса. Я не решаюсь входить в подробности того, что произошло перед окнами казармы, потому что тут в дело замешана одна дама. Супруга лица, именуемого *maréchal des logis*, была красивая женщина, и все-таки Аретуза был рад поскорее удалиться из ее общества. Частичка ее образа, холодного как персик в тот жаркий день, до сих пор таится в его памяти, но еще лучше запомнил он кое-что из ее слов. «Какая у вас хорошая гостиная», – промолвил бедный джентльмен. – «О, – сказала *madame la maréchale (des logis)*, – вы очень много понимаете в хороших гостиных!» – И если б вы видели, каким жестким и презрительным взглядом она смерила стоявшего перед нею бродягу! Едва ли он ненавидел комиссара; но прежде, чем кончился этот разговор, он успел возненавидеть *madame la maréchale*. Страсть его (по свидетельству одного из очевидцев) изобличалась горящими глазами, бледностью щек и дрожью в голосе; в то время как *madame* забавлялась над ним, подобно матадору, донимая его колкими словами и

уничтожая его леденящим своим взором.

Разумеется, приятно было уйти подальше от этой дамы, а еще приятнее – сидеть за превосходным обедом в гостинице. К тому же здесь презренные путешественники завязали знакомство со своим соседом, который только что вернулся с охоты и был достаточно одарен хорошим вкусом, чтобы почерпнуть удовольствие в беседе с ними. По окончании обеда этот господин предложил закрепить новое знакомство в кафе.

Кафе было переполнено охотниками, во всеуслышание объяснявшими друг другу и всему миру пустоту своих ягдташей. Около самой середины комнаты сидели Сигаретка и Аретуза со своим новым знакомым; все трое были отменно довольны, потому что путешественники (после только что перенесенного испытания) чувствовали алчную потребность в уважении, а охотник был в восторге, что нашел парочку терпеливых слушателей. Вдруг стеклянная дверь шумно отворилась, на пороге появился *maréchal des logis* в сверкающей португее и при аксельбантах, вошел, никому не поклонившись, прошел через всю комнату, бряцая оружием и шпорами, и скрылся через заднюю дверь. За ним следовал по пятам жандарм, давешний приятель Аретузы, воспроизводивший, с соблюдением почтительной разницы, царственную осанку своего начальника; проходя мимо, он лишь прикоснулся слегка ладонью к плечу своего недавнего пленника и промолвил: «*suivez!*» с той звучной, драматической инто-

нацией, тайну которой он так хорошо познал.

Арест депутатов, клятва в Jeu de Paume, подписание декларации независимости, речь Марка Антония, все отважные деяния истории имеют, по-моему, кое-что общее с этим вечером в шатильонском кафе. Ужас незримо веял над собравшимися. Через минуту, как только Аретуза последовал за своими пленителями, Сигаретка остался наедине со своим кофе, в кругу опустевших столов и стульев; жизнерадостные спортсмены забились в углы комнаты, их доселе громкие голоса сменились боязливым шепотом и глаза их смотрели на него украдкой, как на прокаженного.

А Аретуза? О, ему предстояла долгая и подчас мучительная беседа в кухонных сенях. Maréchal des logis, который был человеком весьма красивым и, я надеюсь, умным и честным, не решался определенно высказаться об этом инциденте. По его мнению, комиссар был неправ, но ему не хотелось бы вовлекать своих подчиненных в неприятности; и он предлагал и то, и другое, и третье, но Аретуза (чувствуя у себя под ногами все более и более твердую почву) не соглашался.

– Попросту говоря, – заметил Аретуза, – вы хотите вымыть руки и избавиться себя от дальнейшей ответственности? Хорошо, но в таком случае отпустите меня в Париж.

Maréchal des logis взглянул.

– С десятичасовым поездом вы можете уехать в Париж, – сказал он.

И на следующий день, в полдень, путешественники уже

были в столовой у Сирона и рассказывали о своих злоключениях.